

«КРЫЛЬЯ УЖАСА»

«МИР И ХОХОТ»

РАССКАЗЫ



ЮРИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ / 3

МАМЛЕЕВ

Собрание сочинений Юрия Мамлеева

Юрий Мамлеев

**Собрание сочинений.
Том 3. Крылья ужаса.
Мир и хохот. Рассказы**

«ЭКСМО»

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Мамлеев Ю. В.

Собрание сочинений. Том 3. Крылья ужаса. Мир и хохот. Рассказы
/ Ю. В. Мамлеев — «Эксмо», — (Собрание сочинений Юрия
Мамлеева)

ISBN 978-5-04-089941-8

Юрий Мамлеев – родоначальник жанра метафизического реализма, основатель литературно-философской школы. Сверхзадача метафизика – раскрытие внутренних бездн, которые таятся в душе человека. Самое афористичное определение прозы Мамлеева – Литература конца света. Жизнь довольно кошмарна: она коротка... Настоящая литература обладает эффектом катарсиса – который безусловен в прозе Юрия Мамлеева – ее исход таинственное очищение, даже если жизнь описана в ней как грязь. Главная цель писателя – сохранить или разбудить духовное начало в человеке, осознав существование великой метафизической тайны Бытия. В 3-й том Собрания сочинений включены романы «Крылья ужаса», «Мир и хохот», а также циклы рассказов.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-089941-8

© Мамлеев Ю. В.
© Эксмо

Содержание

Крылья ужаса	6
I	6
II	8
III	16
IV	20
V	24
VI	25
VII	27
VIII	31
IX	36
X	41
XI	47
Эпилог	51
Мир и хохот	54
Часть первая	54
Глава 1	54
Глава 2	57
Глава 3	60
Глава 4	63
Глава 5	66
Глава 6	68
Глава 7	70
Глава 8	73
Глава 9	77
Глава 10	79
Конец ознакомительного фрагмента.	82

Юрий Витальевич Мамлеев
Собрание сочинений. Том 3. Крылья
ужаса. Мир и хохот. Рассказы

© Мамлеев Ю.В., наследник, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

Крылья ужаса

I

В московском переулке, под названием Переходный, что на окраине города, дом № 8 внешне не занимал особого положения. Дом как дом, деревянный, старый, трехэтажный, с зеленым двориком, с пристройками и многочисленными жильцами. Рядом ютились другие дома и домишки, образуя как бы единое сообщество. Но народец в доме 8 подобрался – волею судеб – весьма и весьма своеобразный...

Люда Парфенова, молодая женщина лет тридцати, много и странно кочевавшая на этом свете, переехала в дом № 8 относительно недавно. Жила она здесь в маленькой двухкомнатной квартирке одна.

История ее была такова.

Постоянно ее преследовали люди, охваченные необычной жадой жить, жить вопреки факту и вопреки самой природе. Еще в детстве ее любимый мальчик сошел с ума от этой идеи; глаза его надломились от какой-то бешеной жажды жизни в самой себе. Так что Люда без дрожи губ не могла на него смотреть. А потом мальчик пропал навсегда.

С любовью у Люды – вначале – тоже были странности. О любви она впервые узнала – еще девочкой, в детстве, – подсмотрев соитие умирающих, затаенно, через окно низенького соседнего дома. Хозяин там был тяжело болен, недалек от смерти, но, несмотря на это, приводил к себе – для страстей – такую же больную, обреченную, с которой познакомился в очереди у врача.

Люда, согнувшись от ужаса и жалости, смотрела тогда на их трепет и подслушивала так не раз, потому что приковал ее не только трепет, но и слова, и еще некий ласково-смердный полуад, растворенный в их комнате. Особенно неистовал соседущка – пожилой уже в сущности человек – и плакал от оргазма, а потом визжал, что не хочет умирать.

Видела Люда не раз, как он сперму свою клал себе в чай, чтобы выпить «бессмертие». А женщина тоже плакала и отвращала его от этого, но сама тоже хотела жить и цеплялась руками во время соития за кровать. И дышала так судорожно, что, казалось, готова была сама наполниться воздухом, чтобы стать им, этим воздухом, таким живым и неуловимым... растворенным везде... нежным и вездесущим... Но это плохо ей удавалось, и капли липкого смертного пота стекали с ее лица, и она гладила свои уходящие руки, плотские руки, которые никак не могли стать воздушными, недоступными для смерти. И тогда она хохотала и плакала, и опять целовала мужчину, и они, слипшись, в предсмертной судороге, выли и стонали, и их некрасивые, тронутые разложением тела выделялись в полумраке комнаты. И Люда видела все это, и понимала...

Она почему-то не считала тогда саму себя бессмертной, как многие полагают в ее невинном возрасте, может быть, потому, что сама много болела. И поэтому такие сцены выворачивали ее душу, и она бесилась, и с детства (топнув ножкой) часто думала о том, есть ли на свете способы стать бессмертной. Но умирающих этих любовников полюбила болезненно, не по-детски, и дарила им игрушки, приносила картошку после их соитий, и поразилась, когда однажды узнала, что женщина померла. И мужчина-сосед выл по своей сосмертнице, но потом, говорят, нашел другую умирающую, но не успел насладиться, так как сам скоро умер. И вид его после смерти – Людонька подсмотрела – был ненормален: он чуть не хватал себя за голову, точно хотел унести ее от могилы. Какой-то карапуз плюнул ему в гроб от этого неудовольствия.

Потом, повзрослев, Люда решила бороться. Но как? За тенью всех событий ее жизни ей все время попадались эти люди, объятые патологической жадой бытия. Она их сразу могла

отличить от других по ряду признаков. Это, конечно, не были «жизнелюбцы» (в обычном понимании этого слова), т. е., которые бегали за карьерой, за продуктами, волновались, кричали, ездили, уезжали, опять приезжали, дрались, добивались, а реальная жизнь, т. е. их самобытие, проходили мимо них. Нет, Люда встречалась не с такими, а с теми, кто знал настоящую цену жизни, с теми, кто был погружен в реальную жизнь, а не в погоню за призраками...

И эта реальная жизнь – было их собственное самобытие, которое они умели постигать и разгадывать, которым они умели жить, наслаждаясь жизнью в самих себе ежеминутно, еже часно, независимо от того, чем им приходилось заниматься в повседневной жизни, независимо вообще от развлечений, работы, дел...

Люда различала «их» даже по движениям, по дрожи голоса, по особенной осторожности, по глазам. И любила втайне общаться с ними, развивая в себе эту способность жить сама собой, жить самой жизнью во всей ее бездне, в ее бесконечных измерениях и удивительных открытиях. И тогда ей ничего особенного не надо было от жизни, ибо все основное скрывалось в ней самой, а все остальное было приложением, которое можно иметь, а можно и не иметь, – самое главное наслаждение, и смысл, и радость от этого не менялись...

Особенно сдружилась она с одной полустарушонкой – очень бедной, почти нищей, но погруженной в свое самобытие. Ее маленькая комнатка превратилась прямо в раек для нее – без всякого сумасшествия.

Собственно, в Люде самой все это было заложено (в более глубинной степени), и тянулась она поэтому фактически к себе подобным. Порой она познавала свое бытие и жизнь – так полноценно, так безмерно, что только дух захватывало от блаженного ужаса, и бесконечность свою воспринимала так, что с ума можно было сойти, хотя никакого ума уже не нужно было при такой нездешней жизни. И главное ведь заключалось не в «наслаждении» (хотя «наслаждение» входило как элемент), а в другом, в том, что было центральной всего на свете: в ее бытии, познаваемом каждую минуту, бездонном и страшном, заслоняющем весь мир.

Люда чувствовала, как невероятно можно было бы так жить (особенно если развить «способности»), но кое-что в миру все же явно отвлекало и пугало ее и действовало на нервы...

II

Один из таких тяжелых случаев, «подействовавших на нервы», был связан с ее двоюродным братом, к которому она одно время очень привязалась.

Про человека этого не раз говорили, что он упал с луны. Но в то же время он очень хотел жить, хотя и по-своему. Впрочем, было такое ощущение, по крайней мере в его школьные годы, что он вообще не понимал, куда он попал и что с ним творится. Не раз он задавал, например, сам себе вопросы: почему у него нога, и почему рука, и вообще в те годы он с крайним недоумением относился к собственному телу и, казалось, был ошарашен от его существования.

Люда тогда порой успокаивала его, поглаживая по головке, когда он мечтал на диване. Успокаивала в том смысле, что-де не все еще потеряно и что вот так жить, с телом, еще далеко не самое худшее, что может произойти. Леня – так звали брата – не раз подбадривался при таких словцах сестры, и кричал потом по ночам, что он-де вообще ничего не боится.

Люда, пытаясь его настроить еще более глубоко, на внутреннюю жизнь, твердила не раз за чаем, что ей наплевать на весь мир и что ей все равно, есть ли у нее тело или его нет, лишь бы было самобытие, и что тело свое она ощущает не как тело, а просто как свое бытие.

Леня не понимал ее слов, и тогда она, чувствуя безнадежность, переводила разговор на политику или на конец света. Но Леня плохо чувствовал, что свет вообще существует, и потому к концу того, чего нет, относился со здоровым удивлением. Только в ответ разводил руками.

Но годам к 23 в нем вдруг произошел неожиданный переворот. Он неожиданно определился, понял, что он не где-нибудь, а на месте, и почувствовал в себе какой-то таинственный, потенциальный талант. Ему вдруг еще бешеной захотелось жить и проявлять себя до бесконечности.

Люда способствовала ему в этом начинании. Правда, талант его был в каком-то странном состоянии, но он явным образом был гуманитарного характера, причем в разнообразном направлении: Леня писал статьи, рисовал. Он чувствовал, что сможет утвердиться...

Параллельно крепло и желание жить. В этот период Люда немного отошла от него, тем более у нее завелся мучительный роман с молодым человеком, наполовину обалдевшим от нее. Он, в сущности, ничего не понимал в ней, но именно поэтому привязался к Люде, как к загадке.

Люда к тому же считала, что он сможет разгадать ее или приблизиться к ней духовно только будучи в огненно-нетрезвом виде, и поэтому нещадно поила его. Кирилл – так звали любовника – действительно в нетрезвом виде прямо-таки озарялся и где-то искал пути к пониманию Люды.

– Я в тебе вот что не пойму, Люд, – твердил он ей однажды после бутылки кореандровой водки, выпитой где-то в закутке. – Почему ты смерть любишь?

– Да откуда ты взял, что я смерть люблю? – ответила тогда Люда и выпила свою стопочку, стоявшую на земле.

– Да потому, что в глазах твоих это вижу. Я, Люд, в то, что ты мне объясняешь, все равно не войду, не моего это ума дела. Я, когда ты говоришь, в глаза твои гляжу – и вижу там смерть.

– Хорошо, хоть что-то видишь, Кирюшенька. Но почему смерть? Не в ту сторону глаз глядишь, мой милый...

– В другую сторону я и не заглядываю. Хватит с меня и одной стороны твоих глаз. Я тебя, Люда, очень люблю и на том свете буду любить еще больше...

Уже подумывали они о браке, о ранней семье, как вдруг Кирюшка, неожиданно для самого себя, сбежал. Испугался, одним словом, ее, Люды, или, может быть, ее глаз. Люда недолго горевала, точнее – не горевала вообще. И опять положила глаз на своего брата. К этому времени брат уже окончательно заважничал, словно абсолютно понял, где, в каком миру он теперь живет и что он далеко не последнее существо здесь. Стал даже петь по ночам песни,

правда не в меру веселые. Один из соседей по коммунальной квартире – лохматое, неповоротливое, гетеросексуальное создание, звали его Гришею – не раз повторял, что, если б Леня пел грустные песни по ночам, все было бы нормально и он бы засыпал, а что-де от веселых песен у него, у Гриши, шалют нервы.

– Какое сейчас веселье на земле! – кричал он в коридоре. – Тоска одна теперь от веселья-то!

Но Леню теперь уже почти не покидало это веселье, точно он летел навстречу своему таланту и будущему. Талант действительно из него выпирал, и он становился в меру известным...

А Люде было приятно общаться с будущей знаменитостью.

И вдруг все рухнуло, особенно веселье. Брату объявили, что у него запущенный рак, о котором он и не подозревал, и что он, такой молодой, скоро умрет, умрет через полгода, самое большее. Последнее, главным образом, и не удалось скрыть.

Люду перекосило от ужаса. Прежде всего Леня был ее брат, хоть и двоюродный, и поэтому она почувствовала в первый момент, что эта будущая смерть имеет к ней самое прямое отношение. Она почти забросила свой институт, и в то же время никак не могла понять, что это значило бы для нее: стать мертвой или умереть. Она никак не могла связать это событие с собой, настолько оно казалось ей абсурдным. И к Лене стала относиться с любопытством, как к своему непонятному будущему. И в то же время страстно жалела его... Ей казалось, что его надо во что бы то ни стало в чем-то убедить логически, и тогда найдется здравый выход, потому что в мистический выход Леня все равно не поверит, думала она на подходе к его дому, нервничая, потому что это было первое посещение брата после такого известия.

Она юркнула в широкую пасть парадного входа, проскочила в лифт и с дрожью поднялась на шестой этаж – с дрожью, потому что лифт олицетворял для нее капкан, падение с высоты и смерть. Позвонила положенные три раза. Открыл другой сосед брата, толстун, и провел ее к Леониду, захлопнув дверь. Леня стоял посреди комнаты, в руках у него была нитка с нацепленной бумажкой, которой он забавлял огромного серого кота, играя с ним. Кот подпрыгивал и бил лапой по бумажке.

– Как дела? – неожиданно спросила Люда.

Леонид ничего не ответил, продолжая забавляться с котом.

– Ты непременно излечишься, непременно! – почти закричала Люда. – Такие, как ты, не умирают! Так рано!

Леонид захохотал, но хохот этот относился к коту: кот неудачливо перевернулся, гоняясь за бумажкой.

– Что тебе надо от меня? – спросил он наконец, остановив игру. – Видишь, я играю с котом. Кот этот сумасшедший, и говорят, что он тоже скоро умрет. Да и вообще коты не долго живут: всего 10–12 лет, чуть-чуть больше иногда.

Люда остолбенела. Но взгляд Леонида был здоровым, хоть и таинственно-холодным. Люде почему-то показалось, что он уже умер и в то же время, мертвый, играет с котом.

– Игрун, – мелькнуло в ее голове.

И стало почему-то жалко собственное тело, которое было таким сладким и мягким.

– Это конец, – подумала она во второй раз.

Леня тем временем показал коту язык. Кот рассвирепел и сильно ударил его лапой по ноге.

Люда вскрикнула. Тогда наконец Леонид обратил на нее внимание, не теряя, однако, контакта с котом, искоса поглядывая на него, то показывая ему язык, то подмигивая ему.

Кот напряженно сидел на полу.

– Приготовить чай, Люда? – озабоченно и даже участливо спросил он.

– С вином, с вином, Леня, – истерично ответила ему Люда. – С вином.

– У меня нет вина, – сухо ответил он. – Но есть водка. А вот чай будет.

– Пусть будет, что будет, – раздраженно ответила Люда.

И Леня вышел на кухню.

Кот сидел на полу, не меняя позы.

– Только бы он не погнался за Леонидом, – подумала Люда. – А мне надо смириться.

Леня быстро принес чай: он приготовил его заранее, кому – неизвестно.

Люда послушно вынула из буфета пирог, печенье, сладости, конфеты и варенье. Всего было очень много.

Разложила на подвижном столике. Чай оказался на редкость вкусным, точно он был для живых. Леня молчал, а потом вдруг заговорил о захоронении кота.

– Ты знаешь, его негде хоронить, – жалобно и даже просительно заключил он.

– Но ведь объект еще не умер! – вскричала Люда, посмотрев на неподвижного кота.

– Не все ли равно, когда он умрет, – усмехнулся в ответ Леонид. – И я решил захоронить его в стене собственной комнаты, в той, что рядом с моей кроватью, – и он показал рукой. – Смотри. Вот в том месте, я его замурую и схороню. Мы с ним не расстанемся. Ты согласна?!

– Боюсь, – выдавила Люда.

– А ты не бойся. Ну что страшного в замурованном коте?

– А тебе не страшно сейчас?

– Я буду с ним жить, когда он будет замурован. Это так приятно, когда кто-то находится у тебя в стене.

– Хорошо, что от тебя не скрыли диагноз.

Леня даже привстал от удивления.

– Диагноз, диагноз, ну и черт с ним, с моим диагнозом! – проговорил он, двигаясь по комнате. – Я хочу замуровать собственного кота. После смерти не моей, а его. Безболезненно. Неужели я не имею на это право? Или я кто, по-твоему, у Бога? Вошь, тля, небытие, что ли?

И он злобно посмотрел на Люду.

– О каком небытии может идти речь, – заговорила Люда, внутренне подчиняясь ему. – Особенно после смерти. Какое может быть небытие после смерти?! Даже у замурованного кота?! Что мы, не боги что ли?

Но Леня не обратил на ее слова ни малейшего внимания. Он все быстрее и быстрее бегал по комнате, точно желая освободиться из-под чьих-то лап. Иногда чесался.

– Что мне кот?! – кричал он, брызжа слюной. – Что мне вообще эти стены?! У меня есть мой талант, в конце концов, поймите вы это, черт вас побери!

И ты думаешь, кто я? Кто я? – продолжал он, и вдруг губы его задергались, и глаза наполнились слезами, тяжелыми, не быстрыми. – Попугай?! Кот?! Гений?! Сумасшедший?! Кто я вообще, родившийся тут? И почему я родился? Что мне делать, что мне делать?! Что делать?!

У Люды сильнее забилося сердце.

– Да все будет хорошо. Вылечишься ты, – пробормотала она. – Сколько на свете здоровых людей!

– Да я не об этом, – вдруг Леня опять ушел в себя. – Я о коте говорю. Надо, надо его замуровать, – и Леонид даже успокоился. – Посмотри, он совсем ослаб. И просто не хочет жить. Он сам хочет, чтобы его замуровали, чтоб не видеть этот мир.

Сели пить чай. Но Леонид не раскаивался. Кот действительно выглядел слабым. Пирожные, конфеты, пироги словно превратились в не то, что они есть на самом деле. Они даже не ели их, а проглатывали, словно они были воздушные. Да и комната Леонида уже не походила на комнату, а скорее на тюрьму, летавшую по космосу.

– Тьфу, – сплюнул Леня. – Что будет с моим талантом? Ты понимаешь, я чувствую себя выделенным – выделенным из всего целого. Я вам не вселенная какая-нибудь, а личность,

крик! И я хочу жить! А где жить, когда везде один кошмар и галлюцинации. Я и после смерти, если хочешь, буду рисовать свои картинки! У меня талант!

– Леонид! Но чем же ты будешь рисовать после? – вдруг тупо спросила Люда. – Там нет красок и нету рук. Еще мыслить и сочинять легенды, я думаю, там можно.

– Хватит, хватит, хватит! – закричал Леонид. – Ничего не хочу слышать. Ничего! Ничего! Все это вранье, сплошное вранье, ты понимаешь, вранье и то, что мы существуем, и про какие-то краски, вранье и про смерть, никакой смерти нет и никого «там» нет. Врут все и про все! Ничего, ничего нет! И диагноз мой – бред.

– Да успокойся ты, не говори так быстро.

– Я, Люда, свой портрет нарисовал, – заплакал вдруг Леонид, – чтобы память осталась. Подарю его тебе, будешь глядеть на него по ночам, а?

– Буду.

– Тогда подарю. Только не бойся, что выходить оттуда буду. Я ведь бедовый, а тем более после смерти как не выйдешь.

Руки его дрожали. И у Люды у самой стали дрожать руки. Она подумала о том, что не стоит ей прогуливать институт и лучше ходить на эти занятия, чем умереть.

– А кота я все равно замурую, – прошептал Леонид.

– Напрасно. Не делай этого.

– Почему напрасно? Я еще, может, очень долго проживу, лет 20, но не больше. Приятно жить, когда рядом с тобой в стене сидит труп, пусть даже кота. Ведь кот тоже живое существо.

– Да, да, ты проживешь лет 20, – пробормотала Люда, взглянув в его глаза, полные слез.

– А что будет с котом после смерти, ты знаешь, читала? – спросил он.

– Читала немного.

– Читала! – злобно прервал Леонид. – А я вот знаю.

– Ни в какую общую родовую душу они не вливаются, Леня, – тихо ответила Люда. – А существуют индивидуально, но в общем мировом потоке кармы своего рода.

– Ишь, загнула, ученая! – усмехнулся Леня. – Да они стучат по ночам, если ты хочешь знать! Мертвыми лапками по стене дома – потому что жить хотят. Вот что! А самые главные среди них мяукают, когда кто-нибудь хороший среди людей умирает. Если в агонии, перед самой смертью, за 2–3 минуты до конца услышишь мяуканье – это значит тебя покойные коты зовут. К себе. И тогда надо идти, идти к ним... навсегда... В них тоже есть Бог... навсегда... навсегда.

И Леонид разрыдался.

Людочке до ужаса стало жалко его, так что самой захотелось умереть. Она обняла его, зацеловала. И стала яростно говорить о вере, о том, что спасение – только в ней, это проверено тысячелетиями, так было и так будет. «Ты веришь, – бормотала она, целуя и лаская брата, – ведь без веры нельзя умирать?!»

Но Леня посмотрел на нее изумленно-холодными глазами и даже несколько отчужденно.

– Неужели ты думаешь, что я не верующий? – спокойно и высокомерно спросил он, и слезы исчезли в его глазах. – Я верю, но не в это дело.

– Что ты говоришь, как же не в это дело?! – вскричала Люда.

– Я умираю, умираю! – закричал вдруг Леонид, и он, вскочив со стула, опять забежал по комнате, крича так, как будто вера – это одно, а его смерть – совсем другое. Кончил кричать он как-то мертво и пусто, сел, выпил чай из блюда и захохотал.

Люда в ответ тоже захохотала. Так и хохотали они, брат и сестра, одни в этой комнате.

– Ты знаешь, – прервав, начала Люда. – Одному моему приятелю удалось съездить в Индию, и он встретил там Гуру. Учитель спросил его, что он больше всего боится в жизни. Мой приятель ответил, что смерти. В ответ индус так захохотал, просто невероятно, он хохотал.

тал почти четверть часа, настолько ему было дико – что человек боится такой ерунды, такого простого перехода, как смерть.

– Лучше бы он хохотал не над смертью, а над жизнью, – мрачно ответил Леня. – Все равно для меня смерть – загадка и ужас, пусть хоть вся Индия хохочет над этим! А вот над жизнью пора, пора уже давно похохотать, Люда...

– Да, непонятно еще, над чем и почему этот индус смеялся, – заметила Люда. – Потому что другой индус, которого встретил там мой приятель, на вопрос о смерти только молчал, и серьезно так молчал, чтобы понятно было, что есть в смерти какая-то «заковычка»... А впрочем, темна вода, кто его знает...

– Да что ты все о смерти и о смерти, – огрызнулся Леонид. – Как будто у тебя диагноз, а не у меня. Над жизнью хохотать надо – вот над чем! Вот что непонятно.

– Да не вместим мы этого никогда, Леня, – миролюбиво отметила Люда, прихлебывая чай. – Не вместим. Блок, величайший поэт нашего века, но все же не выдержал, помнишь: «Пускай хоть смерть понятней жизни...» Где уж другим выдержать.

– Да что ты мне все о поэтах. Были ли они, не были... У меня свой талант есть. Свой! – вдруг закричал, покраснев, Леонид. – Свой талант! И что, что, что мне делать?!

– А я хочу, – ответила Люда, – хохотать над жизнью. Что еще остается делать?!

– Хохотать на том свете будем! – внезапно раздался громкий голос за дверью.

Леонид вздрогнул, в двери стукнули, потом она распахнулась, на пороге стоял сосед-толстун с бутылкой водки в руках. Звали его Ваней.

– Все диагнозы – к чертям! – заорал он. – Эх, жить будем, гулять будем, а смерть придет, выпивать будем! – лихо пропел он и, подбежав к Леониду, поцеловал его в ухо. – Не бойсь, Леня! Все одолеем! – добавил он.

– Ваня, уймись, – произнесла Люда.

Но Ваня не захотел униматься, от его жирно-веселой прыти дым стоял столбом по комнате. Все-то он опрыгивал, все-то он осматривал, до всего ему было дело.

Тут же налил ошеломленному своею смертью Леониду полстакана крепчайшей водки – 56 градусов – и Люде тоже капнул в стакан.

– За смерть, за жизнь, за их единство! – хохотнул Ваня, поглаживая брюшко.

– Сколько же стаканов еще мне осталось, – проговорил Леонид.

Было такое впечатление, что весть о близкой смерти камнем лежит на его сердце, но в то же время он как будто имеет еще какую-то заднюю мысль или даже гипотезу, от которой только – осуществись она – сплошное веселие должно сотвориться на земле, если, впрочем, от нее что-либо останется... Но это было только впечатление. И что-то непонятное оставалось в Леониде – так чувствовала Люда.

Вдруг присмиревший было Леонид вскочил:

– Да что же мы сидим на одном месте! Как Обломовы какие-то! – вскричал он. – Вперед, вперед, навстречу...

Все подскочили. Наскоро допили разлитую водочку, бутылку захватили с собой – и вперед, вперед, на общение; может быть, думала Люда, они найдут того, кто откроет им все. Именно все. Сердце ее билось, колени почему-то дрожали, ей было жалко брата почти как себя, и в то же время появилась странная надежда встретить людей, которые если и не откроют «всё», то поймут и облакают. Ум ее метался от одной мысли к другой.

Выбежали – все трое – во двор, и уж неизвестно было, кто чего ожидал. Люда вроде бы вела их по направлению к дому, где жил один таинственный эзотерик, но она знала, что его сейчас нет в Москве, и вела просто так, не зная куда. Они шли уютно-заброшенными дворами, попадались им по пути странные ангелоподобные русые мальчики и девчонки и потом малыши, играющие в прятки. Их ответы на вечные вопросы были еще впереди. На скамейках, недалеко от них, застывали 80-летние старушки, с погасшими, но еще загадочными глазками: эти, если

и знали кое-что, уже не могли ничего выговорить; высох язык, ушли в небытие губки, ум исчез в одну точку...

Леонид из последних сил только подбадривал всех – вперед, вперед!

Пройдя мимо угрюмого уголовника, играющего ножом сам с собой, они вдруг вышли на зеленый дворик, сбоку виднелись могучие, уходящие ввысь сталинские небоскребы, а в углу дворика, за бревнами, их прямо-таки приветствовал веселый человек, помахивая рукой, приглашая к себе; около него приютилась компания: два человека – юноша и девушка.

– Прямо к нам, прямо к нам! – с хохотком повторял этот веселый человек с брюшком и бородкой.

Люда, инстинктивно почувствовав свое, направилась вместе с Ваней и братом туда.

За бревнышками и между забором образовалась уютно-московская маленькая лужайка, где сидели эти трое: веселый, неопределенного возраста, который представился Сашей; молодой человек Сережа и девушка Лиза. На травке лежали бутылочки пивца и винца и весьма разнообразная закуска.

– Я вас узнал, – смеясь, говорил Саша, – хотя мы незнакомы, но я вас узнал. Свои люди.

– Конечно, свои, свои, – умилился Ваня. – А кто же мы еще. Не из океана же вылезли.

– Давайте, друзья, выпьем за смерть, – подхватил вдруг Леонид. – Ведь пьют же за супротивника.

– Да мы ее метлой, метлой! – возмутилась Лизочка. – Выпьем, чтоб ее не было.

– Действительно, хорошо! – захохотал Саша. – Смотрите, из-за такого тоста и кошка помоечная к нам идет и тоже бессмертия хочет!

И правда, тихая, поганая кошечка, не боясь, подошла к этой шумной компании, точно присоединяясь.

Все подхватили тост и выпили ясно, без тоски. Да и кошка помоечная мяукнула при этом. Лизочка посмотрела на Люду.

– Сестру, сестру в тебе я вижу, Люд, – пробормотала она. – Вот как бывает: сестер и братьев вроде полно на улице, но ты – особая сестра, самая близкая...

– Это почему же?

– Не знаю, Люд. Я ведь сирота. А в твоих глазах – мое есть, что скрыто, а не только то мое, что у всех у нас есть.

– А где ж отец да мать?

– Смерть они не победили, Люд. Потому и нет у меня отца с матерью. Зато Рассея есть. Этого для меня достаточно, и на тот свет хватит.

– Ах, вот ты какая, Лизочка, – и Люда поцеловала ее. – Тогда мы сестры навсегда.

Но тут вмешался Сергей. Он был странен, сер и теперь совсем не выглядел молодым.

– Ребята, – проговорил он неожиданно и сурово, – я считаю, что смерть можно победить чем-то еще гораздо более чудовищным, чем сама смерть. Но что может быть чудовищнее смерти?

Саня чуть не упал от восторга, всплеснув руками.

– Да где ж это искать, кроме как внутри нас, – заговорил он, опомнившись от хохота.

– Конечно, конечно, – подхватила Люда. – Только внутри нас это и есть. Такое чудовищное, что и смерть испугается. Только как это чудовищное открыть в себе? Оно ведь просто так не валяется, а глубоко скрыто. Не каждому дано его видеть, а тем более знать. Помогите, помогите нам открыть это чудовищное в себе, Сашенька, помогите. Недаром мы встретились – так блаженно, так неожиданно в углу этого дворика. Посмотри, как Леонид ждет...

Саша посерьезнел и внимательно посмотрел на Люду.

– Эх, Люда, Люда, – вздохнул он и опрокинул в себя полстаканчика недопитой водки. – Что ж, если б я знал, разве я такой был, на человека похожий? Да я б тогда знаешь в кого б разросся?! Ты бы меня и не узнала, – и он недоуменно развел руками. – Да я б тогда и сам

себя не узнал, Люда, откровенно-то говоря. Я и во сне даже иной раз сам себя не узнаю. Такой огромный становлюсь и ничего про вашу жизнь, человеческую, не знаю. А как из сна выхожу – то не помню про это. Не тот человеческий умишко, чтоб помнить про такое. Вот так.

– Ох, Сашенька, – разохалась Люда. – Вот как, бредешь, бредешь, и вдруг – своих найдешь. Кто б мог подумать, что встреча такая будет, с тобой и с Лизой, ни с того ни с сего...

Тут же подняли тост за «ни с того ни с сего».

А потом настала тишина. Казалось, все бури улеглись на время в душе. Поганая кошечка разлеглась рядом, удовлетворенная. Тон в молчании задавал Леонид. Словно он ушел в поиск неизвестно чего. Да и не пил он почти.

И разговор потом возобновился, обрывистый, но многозначительный. Поговорив так с часок, обменялись адресами, зная, что дружба будет. Только Леонид оставался сам по себе. Дул ветер, тайно и близко шелестели травы и листья на березках, и в воздухе стояло что-то грозное.

Люда, поцеловав опять сиротку – Лизу, увела своих, да, собственно, Ваня куда-то исчез, и они опять оказались вдвоем с так и неразгаданным Леонидом. Люда решила отойти ненадолго, что-то купить, а потом опять забрести к своему брату...

Вернувшись к нему, она вздрогнула: что-то произошло с ним.

Лежал он скомканный, надломленный на диване, свернулся, как измученно-избитая кошка, потерявшая ко всему интерес.

– Что, что с тобой?! – вскрикнула Люда.

И Леонид ответил. Он медленно повернул к ней свое полное ужаса лицо и закричал:

– Я не хочу умирать! Все кончено для меня! Все кончено!

– Как все кончено?!

– Я не хочу умирать! – взвизгнул Леонид опять. – Пойми ты это! Нет во мне сейчас ничего сильного и ничего чудовищного. Одна смерть в душе.

Он вскочил, губы его дрожали, и, кажется, стекала слюна, и все в нем, казалось, было измучено непосильной ношей.

– Все, все отошло от меня! – завизжал он. – Что было совсем недавно, часа два назад, все отошло! Одна смерть, и ничего кроме нее!

– Как?!

– И чудовищного этого, о котором Саша говорил, и он абсолютно прав, нет во мне или скрыто. Нет во мне сверхъестественного, чудовищного, пред которым и смерть бы померкла, закрыла бы в ужасе глаза. Нет этого, а только этим и можно смирить смерть. Чем же реально победить?!

– Как чем, а верую?

Леонид рассмеялся.

– Что значит верую? Да я, если хочешь знать, не только верю, но и знаю, что после смерти есть жизнь, ну и что? – он вдруг истерически забегал по комнате. – Не в этом дело! Ведь ты сама понимаешь, что смерть – это тайна, и никто еще ее полностью не раскрыл, никакое учение. Все равно есть в ней что-то жуткое, необъяснимое. Да и не в этом дело! Неужели ты не чувствуешь, что смерть – это символ абсолютной гибели, той, которая наступит вообще, после всех жизней и космических циклов, когда наступит время, когда все уйдет в Абсолют, в великое Ничто, когда наступит время абсолютной ночи, в которой не существует ничего. Я в конце концов абсолютную гибель предчувствую! Что все эти жизни потом, одни оттяжки! Да и в этой физической смерти, в бытии после нее, черт побери, нет полной уверенности! – закричал он в бешенстве. – Смерть – это прерыв, раскол, тайна! Неизвестно, куда ты полетишь! Я в этом стуле не уверен, черт побери, а ты говоришь о смерти! – и он в ярости швырнул стул в стену. – И наконец, я ведь умираю, я, я, я!

Потом Леонид бросился на диван и завыл. Это было жутко. Люда, ошеломленная, не знала, что делать. Иногда между всхлипываниями, рыданиями и воем раздавались членораздельные человеческие звуки, но они состояли в одном:

– Да пойми ты мою жуть. Да пойми ты мою жуть, – повторял Леонид несколько раз.

И потом замолк. Но его молчание было страшнее воя. Люда, казалось, чувствуя его изнутри, подбегала к нему, что-то бормотала, но он застыл на бессмысленном диване в одной позе и молчал, молчал. Не в силах вынести это молчание, Люда выскочила вон – и скорее на улицу.

III

Через несколько дней Леня все-таки попал в больницу, в терапевтическое отделение. И почти одновременно, всего одну неделю спустя, маленькая племянница Люды – дочь старшей родной сестры – девочка 10 лет, которую Люда очень любила и выделяла, попала в сумасшедший дом. Точнее, в невропатологическое детское отделение, ибо девочка была не в бреду, и сознание оставалось в ней ясным, но просто сдали нервы. Она все время плакала и отказывалась от пищи.

Сначала Люда посетила Леню. Когда она вошла в палату, Леонид по-прежнему молчал. Но в самой палате творилось что-то невероятное. Больной рядом с Леной выл, другой в углу – плакал.

Тот, кто выл, страдал от нестерпимой боли, у него не шел кал, ограничена была моча, и от боли внизу тела глаза были выпучены и как бы вылезали из орбит и обезболивающие почему-то плохо помогали ему. Из рта у него исходил грубый запах мочи, но тем не менее прекращая выть, он начинал петь – чтобы заглушить сознание и боль. Пел он совершенно идиотские песни, кажется, это были частушки-нескладухи, но без смысла, и взялись они неизвестно откуда, ибо никто не слышал таких. Люде показалось, что больной сам сочинял их во время пения...

Другим ее ощущением было то, что этот мир проклят. Кроме того, она ничего не могла добиться от как будто бы остановившего свое сознание Лени. Поэтому невольно приглядывалась к тому, что творится вокруг.

Внутренняя заброшенность всех и вся, несмотря на уход, поразила ее. Она робко подошла к тому, кто плакал. Но когда она подошла поближе, то почувствовала, что он вовсе не плакал, ибо трудно было назвать то, что он выделял, слезами, – да и выражение было слишком мертво для плачущего. Люде показалось, что у него что-то с мозгом, но такое, что страдание внутри мозга было столь велико, что вытеснило само себя, став более страшным, чем само страдание, и от этого выражение его лица перестало быть человеческим, а напоминало разбитую жизнь трупа.

Между тем вывший больным продолжал петь. Онемев от изумления, Люда, тем не менее ощущая внутри себя бытие, прислушалась.

Слова возникали совершенно безобразные, чудовищные и произносимые то истерически, то утрашающе. Но это не могло все-таки отвлечь ее внимания от мертво-плачущего больного, который, казалось, плакал не как живой человек, а как раскопанный труп.

– Вы что, девушка, больных людей не видели?! – услышала она под ухом голос молодой медсестры. – Что вы устали на них, это обыкновенные люди с обыкновенными болезнями, и вы так можете заболеть со временем. Не дай бог, конечно. Но все болеют.

Люда растерялась.

– Мой брат спит. Что же мне еще делать?

– Не смотреть же на больных. Вы не в театре. У нас только Витя вот своеобразный, – шепнула она, указав глазами налево, и вышла.

Вывший больным замолк. Люда оглянулась и увидела Витю. Это было существо с тоненькой шеей и огромной страшной головой, казалось втрое больше обычной. Он не мог разместить ее на подушке, словно он был сам по себе, а голова его сама по себе. Но глаза были у него неестественно детские, точно они уже не принадлежали этой голове. Он поглядел на Люду и облизнулся, острый язык мелькнул на мгновение и исчез.

– Только не надо плакать, – подумала Люда.

– Посетительница, не ходите по палате! Сидите у брата! – раздался истошный голос нянечки из коридора.

Люда присела у изголовья брата. Он был неподвижен и по-черному мрачен, даже телом.

Люда застыла в ожидании. Вдруг тот больной, который только что выл и пел – звали его Володею, – приподнялся и закричал, так что задрожали стекла в палате:

– За что, за что, за что?!!

Старичок рядом с ним стал молиться.

Но больной не слышал молитв, а еще барабанно-настойчивей, даже требовательней, и в то же время ужасней, кричал:

– За что, за что, за что?!

Люда вскочила с места, вышла в коридор и заходила взад и вперед. Леня не выходил из молчания.

– Да езжайте вы домой, господа, – сказала ей нянечка. – Не мучьте себя. Я знаю, он будет молчать все время.

...Как будто после смерти не намолчится, вдруг подумала Люда...

...Она возвращалась домой на трамвае, было теплое лето, и, сидя у открытого окна, Люда упорно думала о том, что весь наш мир – проклят. Она не могла отделаться от этой мысли. Проклят, несмотря на то что в нем есть красота. И она не могла охватить умом последствия этого, ибо такая мысль уводила ее от собственного блаженного бытия. Она не могла понять, как ее бытие может быть проклято, хотя явно чувствовала, что жизнь, как форма бытия здесь, явно проклята, ну если не совсем, то печать все-таки лежит.

– Словно этот мир создан по программе дьявола, – подумала она и сама же ужаснулась своей мысли.

Дома ее встретили крики, истерики, куда-то надо было идти, куда-то ехать, и в конце концов через два дня она оказалась в сумасшедшем доме, в детском отделении, где лежала племянница. Там было на редкость богато, уютно, и врачи были какие-то сверхдобрые. Девочка Мила, племянница, отказывалась есть главным образом мясо, чтобы не обижать животных – коровок, кур, петушков, свинок... Плача, не брала в рот почти ничего от щедрого мира. Каждый раз двое врачей и медсестра уговаривали ее есть нормально, но невинная кашка иной раз казалась ей мясом истерзанного животного... Глазки ее, как цветочки, наливались слезами, и она только лепетала в ответ на бездонную роскошь мира. Люда расцеловала племянницу.

– Глупышка ты, глупышка... Смотри сама не помри, если не будешь кушать.

– Пусть я помру, а кушать и обижать не буду никого, – плакала девочка.

– А разве ты кого-нибудь в своей жизни обижала? – шепнула ей Люда.

– Обижала, но больше не могу обижать. Скорее умру, – прошептала девочка, целуя Люду.

– Ну будь умницей, съешь кашку, ты никого этим не обидешь...

– А нищих? – удивилась девочка.

– У нищих без тебя будет своя кашка.

Девочка недоверчиво пожала плечиком. И есть отказалась.

Люда разговорилась с молодой врачом – психиатром. Нашлись даже общие связи, знакомые.

– Девочку-то нашу вылечите? – спросила Люда.

– Ничего страшного, – успокоила врач.

– А есть страшные у вас, в детском?

– Да как вам сказать. Всякие у нас есть. Есть очень трудно поддающиеся лечению, странные случаи.

И психиаторша показала Люде девочку, лет 15, уже в отделении для старших детей. У девочки были пронзительно-умные, но словно улетающие куда-то глаза.

– Вот это существо, – шепнула психиаторша, – знает наизусть всего «Идиота» Достоевского. Да, да, не шарахайтесь. Я открывала «Идиота» на случайной странице, она сидит передо мной, в моем кабинете, я читаю несколько строк, и она может продолжать по памяти...

– Она так любит Достоевского? – ужаснулась Люда.

– Не то слово. Я тоже люблю Достоевского. Ее отношение к Достоевскому нельзя выразить словами. Это что-то сверхъестественное. И ее не удастся вывести из этого состояния...

– А только ли с Достоевским связаны такие состояния? Как другие писатели? – дрогнув, спросила Люда.

– Есть лишь два писателя, которые могут довести до сумасшествия. И вы, конечно, догадываетесь кто: Достоевский и Есенин. Причем на почве Есенина больше. У нас есть целая группа детей, возраст примерно 14–15 лет... Вся их жизнь проходит в том, что они до конца погружены в поэзию Есенина. Они не хотят жить, не хотят что-либо делать кроме того, чтобы читать наизусть стихи Есенина. Некоторые плачут. Они читают эти стихи целыми днями, плохо спят, встают по ночам и тоже читают вслух или про себя стихи, бродят по палате, что-то думают. Их очень трудно вывести в мир, почти невозможно. Что-то надорвалось в их душе от этой поэзии.

– Удивительно, удивительно, – бормотала в ответ Люда в оцепенении. – Я и сама близка к этому. Но как можно жить с «Идиотом» в душе 15-летней девочке? Есенин же – понимаю...

– Дети хрупки и не похожи на нас все-таки, – улыбнулась врач. – А я слышана о вас кое-что, звоните мне. Пересечемся на почве безумия, как говорится. Мы, психиатры, тоже не от мира сего немножко.

И Люда, обняв на прощание златокудрую племянницу, отказавшуюся принять мир какой он есть, покинула детское отделение...

– Бедная малютка, – думала Люда о племяннице по дороге. – Значит, ее душенька детская не хочет признавать этот мир?! Она даже обижать никого не хочет. Не туда попала девочка. Ой, не туда попала... Трудно ей будет здесь.

Но мечта о сатанинском мире этом не покидала Люду. «По программе планетка эта создана, по программке рогатого, – умилялась она, но потом возмущалась. – А я-то тут при чем? Какое мое бытие, мое высшее «Я» к этому имеет отношение? А вдруг... – она сжалась. – Лишь бы сохранить бытие, даже жизнь. Жизнь, жизнь, – судорожно заметалась она в уме и сжала пальцы в кулачок. – Невозможно перенести потерю бытия».

...Прошло дня три, и она, повеселев, встретила с Сашей, с тем самым, с которым пили во дворе. За день до этого она была у Лени, тот по-своему молчал, и опять дико выл Володя, словно не переносил он не только физические страдания, а еще какую-то страшную мысль, не дающую ему покоя. Огромная голова Вити качалась в углу в знак полного (со всем миром) согласия.

Встретилась с Сашей у кафе, заодно с Ваней, буяном-толстяком, соседом Леонида, который тоже хотел его посетить. В этот день родители Лени не должны были прийти. Саша, которого вся эта история довела вдруг до иступления, был настроен весьма решительно.

– Да мы их всех испугаем, Люда! – почти кричал он, покраснев. – Вот увидишь! Есть в моей душе, в глубине, что-то пострашнее смерти! Мы их этим распугаем! И Леня твой очнется, ишь молчун. Я ему помолчу перед смертью! И Володю, крикуна, присмирю. Не будет кричать о себе на весь мир! Ишь, больно ему! Мне тоже, может быть, больно с самого рождения. И до сих пор – больно. Мало ли что.

Непонятно было, хвалится он или говорит правду. Почему-то решили пойти в больницу втроем. Взяли такси – и полетели! К их удивлению Леня сидел на кровати и играл сам с собой в шахматы. И ни о чем кроме шахмат и слышать не хотел.

Саша же прямо набросился на крикуна Володю.

– Володя, пойми, – он даже схватил его за больничную пижаму, хотя лицо Володи искажилось, как от зубной боли. – Пойми, что я тебе скажу!

Глаза у Саши вдруг полезли на лоб от собственной мысли, и он, наклонившись к ушку Володи, стал что-то шептать. Тот вдруг взвизгнул, отстранился, упал на подушки и замахал руками: «Не надо, не надо, не надо!»

Ваня буянил около шахматной доски Леонида, не трогая, однако, фигур. Леня тем не менее не обращал на него никакого внимания.

– Не надо, не надо! – повизгивал, однако, Володя, словно забыв о боли.

Даже головастый – в три головы – Витя присмирел, хотя он и так был очень смирный. Мертво-плакавший больной, напоминающий труп, однако ж, не унимался, и никакие ужасы и нашептывания Саши не могли вернуть его к жизни. Он все трупел и трупел, все больше уходя в свою трупность, и слезы уже не лились из его глаз.

Вдруг Леня – яростно и неожиданно – стал швыряться шахматными фигурами, в крикуна Володю полетел ферзь, в головастика – пешки, прямо к ногам, в окна посыпались кони. Больной-труп завыл, хотя в него ничего не попало.

Набежали сестры, дежурные санитары, пришлось унимать физически. Леня ослаб, но вдруг откуда-то взялась в нем дикая сила, он кусался, бился, и его еле уняли под конец. И все время он молчал, все молчком и молчком.

– Такой молчаливый, а дерется, – вздохнула нянечка.

Детские глаза трехголовастого отказывались верить самому себе...

«...Проклят этот мир, проклят, – упорно потом вспоминала Люда всю эту историю. – И жизнь коротка, и насмешка она над землей и людьми, и плоть горька и страшна, и где бессмертие? Чем заглушить, чем заглушить боль?»

Страстно захотела увидеть сиротку Лизочку, у которой оставалась одна Россия, но оказалось, Лизочка уехала – в Сибирь, в глубь... Решила тогда Люда пойти в сумасшедший дом, но уже в настоящий. Через милого психиатра детского отделения познакомилась она с ее приятелем, который работал во взрослом отделении, причем бредовом и буйном.

Люда сама до бреда порой была охоча, а тут как раз все совпало. Побежала она к ним, к этим сдвинутым, чуть не сломя голову, чтоб заглушить жизнь бредом. Но не очень получилось все это. Видела она каркающих идиотов, воображающих, что они – ничто. Старичков, считающих себя молодыми людьми, лихими и забияками, хотя сами старички почти умирали, но для компенсации, словно сговорившись, хором убивали мух. Видела она неопрятного толстого человека, познавшего что он – дьявол.

– Дьявол я, дьявол! – кричал он громко, на весь сумасшедший дом, и бил себя кулаком в грудь от радости.

– Много у вас таких, с дьяволоманией величия? – подмигнула Люда психиатру.

– Больше простыми чертями воображают, – хихикнул врач в ответ. – Самим-то считает себя у нас только Вася, – и он указал на толстяка. – Он у нас первый такой. Больше такой мании величия я ни у кого не видел. Все Наполеончики, Сталины, Ленины, Черчилли, Рузвельты – тьфу, мелкота. Говорить тошно. Только Вася у нас по-настоящему развернулся. Это ж надо, самим захотел быть. Обнаглел, что ли. Вась, покажись, – добродушно обратился к нему психиатр.

Вася лукаво выглянул, но тут же посерьезнел и опять стал орать, как медведь в лесу:

– Дьявол я, дьявол! Все во мне есть! Дьявол я, дьявол! Хоть никто про это не знает! Против всех я!

Видела Люда также оцепенело-помертвевших от катотонии людей, проклявших этот мир, и так уже проклятый. Слышала стоны и вопли, рычание по-собачьи – и никакое милосердие не отвечало им...

Рассвирепела тогда Людочка окончательно и с тяжелым сердцем, поцеловав почему-то в лоб психиатра, уехала домой, так и не разгадав высшую тайную сумасшества.

И приехала она домой с непреходящим ощущением, что мир этот земной проклят.

IV

Через некоторое время Люда опять посетила брата: перед самой его выпиской из больницы. Он сам настаивал на выписке, да и помочь ему уже не могли, по крайней мере по мнению врачей.

Люда, уставшая от всего, заглянула в палату Лени, но не нашла там доктора, с которым хотела поговорить. Он ушел почему-то в женское отделение, и Люда вяло пошла за ним, чувствуя в то же время странную отстраненность. Из этой отстраненности ее почти вывела больная, которую она увидела в женской палате, когда искала доктора. Больная лежала в углу, у двери, грудь ее была раскрыта, и она медленно и неестественно ползала по кровати. Глаза на бледном лице выражали остекленение перед невозможным, и слышался ее шепот среди всеобщего молчания:

– Жжет, жжет грудь... Жжет... Коля, милый, приди... Приди, Коля... Кто поможет?! Кто? Кто?... Нет сердца, одна боль... Я вся боль... Коля, приходи, почему не пришел завтра... Завтра было тяжелое, страшное... Жжет, жжет грудь... Это ты, Коля, пришел, ты?! Прощай...

А глаза у нее были холодные, холодные – от боли.

Люде показалось, что она простонала ей песню – последнюю песню прощания. И, видимо, ей все равно было, с кем прощаться, хотя звала она Колю.

Ничего не поняв из разговора с доктором, она скрылась из больницы.

Начались внезапно непонятно-осенние дни, хотя было лето, но времена года словно смешались. Ощущение проклятости мира у Люды сменилось ощущением призрачной пустоты. Не то чтобы мир не был проклят, но это уже не имело значения – может быть, из-за беспредела проклятости. И все более явной оставалось ощущение призрачной пустоты, как будто уже и мира не было (или был он просто погружен в эту пустоту). Только шепот умирающей больной преследовал ее по ночам: «Прощай, прощай, Коля», – хотя никакого Коли и не было.

А вскоре выписали и Леню. Родители пришли за ним, но он точно отсутствовал или странным образом не хотел их признавать, словно, умирая, он не признавал и сам факт своего рождения. И упрямо хотел к себе, в свою коммунальную конуру, отрицая всякую помощь.

«Не жилец я для смерти, не жилец!» – повторял он одну и ту же фразу.

И, придя домой, плюнул в свое отражение в зеркале.

Люда долго не решалась позвонить ему и не решилась бы, если бы не раздражающее чувство своей связи с ним, почти необъяснимой. Она позвонила наконец, ожидая ужас, но первое, что он сказал ей, было о коте.

– Кот умер, Люда, – раздавался его голос, как будто оторванный от плоти. – И знаешь, как он умер? Жил сумасшедшим, а умер покойно и даже робко. Лежал, умирая, и знаешь, за минуту до смерти тихо-тихо помахал мне хвостиком, точно прощаясь со мной и с миром этим, беспредельным. Помахал хвостиком раза три, так примиренно, грустно, и умер.

– А что еще, Леня?! – спросила Люда. – Как ты себя чувствуешь?

– Что еще? Я замуровал его тело у себя в комнате, в стене, как и обещал. Сосед Ваня помог мне в этом. Теперь он со мною все равно, кот этот, он со мною...

Люда внутренне ахнула, но не возникли ни возражения, ни слезы. А голос Лени по телефону тем не менее продолжал, все визгливей и визгливей, но как-то по пустому визгливей:

– Я уже третий день разговариваю с ним, с покойным. Стучу ему в стенку кастрюлей. Или ложкой, большой ложкой! Хотя коты и не едят с ложками. Но он, я думаю, понимает меня, он во всем теперь после своей смерти понимает меня... Он ведь и не кот, может быть, уже... Господи, как мне все надоело, надоело, а больше всего моя боль и моя смерть!!

И Леонид повесил трубку. Люда подумала: завтра же приду к нему. И она пришла. Первое, что она увидела в комнате Лени, – это толстуна-соседа Ваню, делающего перед Леной,

который сидел на табурете, активную гимнастику. Ваня был трезв, в одной майке и трусиках, и лихо стоял на руках, задирая ноги вверх, к потолку.

Леня тупо смотрел на него. При виде Люды он перевернулся, встал на ноги и с блаженной улыбкой, с распростертыми объятиями приветствовал ее, как свою сестру. Таким веселым и отключенно-отчаянным Люда еще его не видела, и кроме того, она почувствовала, что в Ване появилось какое-то новое качество. Где-то он стал почти неузнаваемым. Рациональность в нем уже исчезла совершенно, как будто рациональности вообще в мире не существовало.

Эдакая неузнаваемость его тяжело ошеломила Люду. «Может быть, это уже другой человек?!» – подумала она.

А Ваня между тем (или это теперь был псевдо-Ваня) назойливо лез к ней с поцелуйчиками, но особенно с широченными объятиями, в которых он, казалось, хотел как бы растворить Люду.

А Леня тем временем стал мутно смотреть в одну точку, ничего не говоря.

«Где же кот, в какую стену он замуровал его?» – подумала Люда и взглядом вдруг стала искать умершего кота. Но ничего не увидела.

Псевдо-Ваня опять стал шуметь и настойчиво хлопотать насчет чая – хотя время совсем было не чайное.

– Кто пьет чай, тот отчаянный, – то и дело приговаривал он, чуть-чуть подпрыгивая, вылетая из комнаты за бесчисленными чашками, ложками, блюдами, как будто народу в комнате было видимо-невидимо.

Потом он неожиданно заскучал, сев на стул.

– Где же кот? – вырвалось у Люды. Псевдо-Ваня сразу оживился, поднял просветленные глазки и воскликнул:

– Я знаю где!

И указал на стену около книжного шкафа.

Леня механически кивнул головой.

– Покой, покой от всего этого исходит, покой, – заключил он.

Люда не знала: то ли ей смириться со всем, то ли совершить что-то необычайное.

А псевдо-Ваня, точно его оживляло присутствие в стене кота, стал разливать чай, пришептывая при этом:

– Чай, он саму смерть победит, вот он каков, чай! Чай-то, а?!

И Леня почему-то очень внимательно слушал его.

Вдруг в дверь сурово постучали.

– А я знаю кто! – воскликнул псевдо-Ваня, улыбаясь круглым лицом. – Скажите, Леня, «войдите», ведь вы хозяин.

Леня вяло сказал:

– Войдите.

Дверь распахнулась, и на пороге стоял... двойник псевдо-Вани. Это было существо, до ужаса похожее на него.

– Мой коллега! – захохотал псевдо-Ваня. – Сослуживец почти. Нас всегда путали. Артем, входи, не робей!

И Артем, вылитый псевдо-Ваня, кругляшом вкатился в комнату умирающего.

– Ба, да здесь целая компания! И причем крайне веселая! – захихикал двойник.

– Садись, садись, – оглушительно заявил псевдо-Ваня. – От чая еще никто не умирал.

Артем сел.

Через полчаса появилась водка, но совсем малость, хотя и от малости все как-то порезвели, включая – на мгновение – даже Леню.

Все перемешалось, и уже непонятно было, где чай, а где водка; и в зеркале отражались двое псевдо-Ваней, и всего их, одинаковых, было уже таким образом четверо, плюс слабеющий Ленья, которой почти не отражался в зеркале, и плюс Люда, которая думала о своем бытии.

От всего этого хаос стоял в комнате, и только первый псевдо-Ваня так заразительно хохотал, что всем, хотя бы на минутки, становилось страшно весело.

А Людочке казалась нереальной даже собственная рука. Ленья пролил чай, завели музыку, почтальон принес письмо.

При всем этом была жуткая трезвость, да и выпили мало.

Ленья иногда задумчиво поглядывал в стену, что у книжного шкафа. Люда все время путала псевдо-Ваней и, устав от всего, особенно от шума, который производили двойники, старавшиеся перекричать друг друга, внезапно ушла. А через несколько дней она услышала страшную весть: Ленья умер. Она до такой степени внутренне остолбенела, что не понимала даже, как относиться к этой новости.

Все дальнейшее прошло как в тумане: и стоны родителей Лени, и похороны, напоминающие обряд брака наоборот, словно умерший венчался с пустотой, и сам громоздкий, вместительный крематорий – все это словно происходило на Марсе или во сне, но во сне на Луне, а не здесь.

Запомнилась только реакция псевдо-Вани. Он был почему-то увлечен крышкой гроба. Гроб-то приобрели приличный, не позорный; но псевдо-Ване, казалось, ни до чего не было дела, кроме этой крышки, по которой он все время назойливо постукивал, даже барабанил, когда совершался долгий процесс пути – к крематорию и т. д.

Перед опусканием в бездну, когда все уже простились, появился двойник псевдо-Вани, и тот словно ждал его. Оба они, одновременно, бросились к гробу и прямо зацеловали, почти облизали, печальный Ленин лоб. Какому-то мужику пришлось даже оттащить их: ибо уже настала пора и звучала скорбная музыка.

У второго псевдо-Вани почему-то вспух глаз.

Через несколько дней – с отцом Лени, пропойным инженером, – Люде пришлось забирать прах Лени, чтоб потом захоронить его в семейной могиле. Ехать было далеко-далеко, куда-то к черту на куличики. Так уж было положено выдавать прах. В этом месте им пришлось еще простоять в очереди, прежде чем они получили, что хотели. Люда сунула кулек в свою пустую сумку – отец Лени категорически отказался брать ее в руки.

– Что же я, своим сыном буду помахивать, неся его, – возмущенно выговорил он, покраснев, а потом надолго замолк.

Люде пришлось самой нести эту большую хозяйственную сумку, на дне которой разместились мешочки – все, что осталось от задумчивого Лени. Сумка была неестественно легкая и прямо-таки болталась в руке Люды.

Все это было так дико и неестественно, что Люда едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться – громко и на всю Вселенную. Она еле справлялась с подступающим хохотом. Эта болтающаяся сумка с нелепым кульком – и одновременно воспоминания о философских умозаключениях Лени – все это вело ее к убеждению о тотальном бреде, о том, что мир этот и все что в нем – просто форма делирия, коллективная галлюцинация и ничего больше.

Выл ветер, туман поднимался ни с того ни с сего, и она шла по бесконечной пустынной дороге, чтобы выйти к автобусной остановке. Вокруг было поле, простор, которому не было конца и который мучил своей тоской и блаженством. Бездонное чувство необъяснимости России пронзило ее вдруг до предела. Но она не могла связать в своем уме эти две вещи: мир и Россию. Она знала теперь всем своим существом, что мир – это бред, галлюцинация, но что такое Россия – она не могла понять. Но она ясно ощущала: мир – сам по себе, но Россия – тоже сама по себе, и уходит она далеко за пределы мира, в чем-то даже не касаясь его...

«И дай Бог, чтобы они никогда не совместились теперь», – подумала она...

Папаша между тем шел отчужденный и нахохленный, словно петух, потерявший золотое зерно. Нелепая сумка с остатком Лени продолжала раздражать Люду своим абсурдом. Но у нее, правда, не возникло желания вытряхнуть этот бессмысленный пепел, который не имел в ее глазах никакого отношения к брату, так что даже хохотать над этой золой было бы не кошунством. Но и прошлое существование брата казалось ей таким же странным, как и эта их процессия по пустынной дороге с сумкой.

Через несколько дней состоялось захоронение праха в полусемейной могиле. Народу, если не считать семьи, было мало. Моросил одинокий прохладный дождик. Люда промочила ноги, но ей было не до ног. Кладбище было все в зелени, и зелень показалась Люде жалостливой.

За день до этого скорбного события Люда попала с приятелями в отключенную подмосковную деревню, где во тьме сада у речки они пели разрывающие душу русские песни и потом неожиданно читали стихи Блока о России. И все-таки, несмотря на присутствие России, сам мир этот, планета, казался Люде подозрительно чуждым, словно в чем-то он существовал по какой-то дьявольской программе. А Россия, ее родная Россия – в ее глубине, в ее тайне, – была явно нечто другое, чем этот мир, хотя внешне она как будто входила в него, как его часть.

И вот теперь она стоит перед могилой, и от Лени виден только этот абсурдный комок.

– Господи, что за бред, – думала она. – Какое отношение имеет к Лене эта мерзкая зола, эта пыль в кулке?!. Сейчас его душа, его внутреннее существо в ином мире, может быть, он по-своему видит нас, но не дай бог, если там так же бредово, как и здесь.

Возвращались после захоронения вразброд.

Но Людой все больше и больше овладевало глубинное чувство собственного бессмертного «я», скорее не чувство, конечно, а просвечивалась внутри сама реальность этого вечного, великого, бессмертного «я» – ее собственного «я». И хотя это «я» только чуть-чуть провиделось сквозь мутную оболочку ума и сознания, Люда чувствовала, что это есть, что это проявится. Хотя бы на время, хотя бы частично, и тогда весь этот так называемый мир обернется нелепо-уродливой тенью по сравнению со светом высшего, но скрытого «я».

И Люда лихорадочно искала и находила здесь точку опоры.

– Господи, – думала она, возвращаясь. – Ну что значит весь этот мир?!

Пока есть мое вечное «я», от которого зависит мое бытие, какое мне дело до мира, – на том или на этом свете, какие бы формы он не принимал. Если есть высшее «Я», значит, есть и я сама и всегда буду, потому что мы одно, а все эти оболочки, тела, ну и что? И хоть провались этот мир или нет – это не затронет высшее «Я», и потому, какое мне до всей этой Вселенной дело?!

И безграничное, всеохватывающее чувство самобытия захлестнуло ее. Она поглядела издали на кладбище. «Какой бред», – почти сказала она вслух.

Все для нее как бы распалось на три части: на так называемый мир, далее – родная, но непостижимая до конца Россия и, наконец, ее вечное «я», скрытое в глубине ее души...

С этого момента произошел сдвиг.

V

Правда, одна история, случившаяся сразу после смерти Лени, немного закрутила ее.

Ее прежние любимцы, люди, сдвинутые чуть-чуть за свое бытие, то и дело попадались ей. И вот один из них действительно поразил ее. Человек этот был уже в годах и обуянный желанием остановить время. Имел он в виду, конечно, свое собственное время, для себя, а не претендовал, чтоб остановить время в миру, что доступно, понятно, одному Брахману... точнее, Шиве: для искоренения всего, что есть.

Чего только не вытворял этот человек! Был он совершенно одинокий и даже полуобразованный, но Люду умилял своими высказываниями о том, что и к концу жизни отдельного человека – и особенно к концу мира – время страшно ускоряется, и будет ускоряться все быстрее и быстрее, так что перед всеобщим концом люди будут ощущать свою жизнь как пролетевшую за один миг. Но что есть-де способы время это замедлять и тем самым оттеснять себя, потихонечку, стук за стучком, от гибели, от черты-с! – покрикивал он на самого себя.

Впервые рассказал он ей все это после соития, за бутылкой водки, когда Люда прикорнула у окошечка с геранью, и солнце опаляло сладостный старо-московский дворик с лужайками и ленивыми котами.

Люде все время вспоминались стихи:

Как ударит в соборе колокол:
Сволокут меня черти волоком,
Я за чаркой с тобою распитой...

Но за возможность «останавливать» время она жадно уцепилась.

– Ух, какая ты ненасытная, – удивился он ей тогда. – Я в твои годы об этом еще не думал...

И от изумления он осушил залпом стакан горьковато-пустынной водки. «Вот народ-то пошел, – пробормотал он потом, – как за жизнь хватаются, даже молодые!»

Люда, не откладывая, погрузилась в его способы. Но, благодаря своей змеиной интуиции, почувствовала не совсем то. Да, кой-чего можно было добиться, и даже эффективно, и как маленький подарок такое можно было использовать, но все же это не то, что надо, чтобы прорваться не только в «вечность», но хотя бы в какую-нибудь приличную «лительность».

Она поняла, что ее любимцу не хватает тайных знаний, а одной самодеятельностью здесь не поможешь.

Тогда она еще решительней пошла по новому пути. В Москве уже существовали довольно закрытые подпольные кружки, которые изучали и практиковали восточный эзотеризм, особенно индуистского плана, и Люда быстро нашла к ним дорогу.

И она увидела, насколько все сложно, и просто и не просто одновременно, и насколько все взаимосвязано и какую высокую, хотя и не видимую для мира квалификацию надо иметь, чтобы разрубить смертный узел...

Но, несмотря на все учения, она, как и многие другие, шла каким-то своим, неведомым путем, словно реальность ее бытия преображала все существующее в чуть-чуть иное, свое...

VI

Вот в таком-то состоянии Людмила и попала в дом № 8 по Переходному переулку. Ее поразило здесь обилие людей, охваченных этой патологической жадой жизни (хотя были, конечно, и другие), то есть людей знакомого ей типа, ее давешних «единоутробцев» по бытию. Раньше они были разбросаны по всему ее мирскому пути, и встречи с ними обжигали ее душу желанием жить (жить каждой клеточкой!) – вечно, безумно и вопреки всему (ведь живут же в каких-то мирах наверняка по тысячи, по миллиону земных лет – говорила она самой себе)...

Но здесь, в Переходном переулке, на маленьком клочке земли, таких любителей своего бытия скопилось чересчур уж много! Как будто они съехались сюда со всей окрестной Рассеи. Конечно, среди них только некоторые могли жить глубинным самобытием... Большинство просто металось, ощущая свое самобытие – в сокровенном смысле – лишь иногда, но зато обуянное и диким желанием жить, и страхом перед смертью, и стихийным поиском жизни в самом себе. Людмилочка просто ошалела от такого изобилия и с некоторыми сразу подружилась. Были это люди своеобычные, причудливые, но, конечно, ни о каких эзотерических центрах они и не слыхивали.

Подружилась она с одной пухленькой – одного с ней возраста, может, чуть постарше – женщиной. Звали ее Галя. Души в ней Людочка не чаяла и целовала ее из-за непомерного сладкого умиления, которое Галя у нее вызывала даже своим видом. Была Галя девка масляная, круглая, но с такими – одновременно умными глазками, что многим становилось не по себе. Собственно, «умными» Люда их называла только в своем смысле, а не в «общечеловеческом»: ибо глаза Гали от обычного ума были далеки, а смотрели мутно, отрешенно, но не монашески, а в своем смысле.

Любила она еще, Галя, петь песни, потаенные, длинные, словно вышедшие из далекого прошлого, которые никто не знал, но которые она вместе с тем немного преображала. Окно ее выходило прямо в уютный и отключенный проулочек-тупичок – между забором и боковой стороной дома. На этой стене ее окно было единственным, оно нависало на двухэтажной высоте над этим зеленым и пыльным проулочком с заброшенной травкой и уголком, в котором спал вечно пьяный инвалид Терентий, не беспокоя никого. Люда впервые здесь и услышала это ностальгическое, чуть-чуть кошмарное пение ни для кого, льющееся из одинокого окна. Это всколыхнуло ее душу, и она подружилась с Галей, о многом рассказывая ей.

Однажды Люда, после короткого трехдневного путешествия в Питер, сидела на скамеечке, во дворе, принимая у себя Петра Городникова, молодого человека из их метафизического центра. Петр был неофит, но из понимающих. Облизываясь, Люда как-то чересчур доверчиво смотрела на травку и освещенную заходящим солнцем полянку во дворике. В воздухе было тепло, как от уютных мыслей, и друзьям захотелось посидеть в миру, а не в комнате... Галя присуежилась тут же.

Надо сказать, что Люда взяла себе за правило говорить при Гале все, что хотела, даже когда речь шла об Учениях, не обращая внимания на ее «необученность». Это было исключение, на которое Люда шла из чувства необычной дружбы с Галей и в надежде к тому же на ее нутро. «Пусть понимает все по-своему, но она все равно как-то парадоксально схватывает эти мысли», – думала Люда и вспоминала, как Галя порой утробно хохотала, когда Люда вдруг говорила о Боге внутри нас...

Но в этот день Люде было не до внутренних долгих хохотков. Она поделилась с Петром своими сомнениями.

– Я понимаю, – взволнованно говорила она ему, – что нужно отказаться от низших слоев бытия, чтобы прийти к высшим, тем более если видишь, что они реальны в тебе, по крайней мере в глубоком созерцании... Но что меня мучает: как бы не залететь слишком далеко...

Конечно, в самом бытии лежит ограничение, и, видимо, нужен скачок к совершенно абсолютному, по ту сторону бытия... Но иногда у меня сомнения...

– Какие сомнения?! – возразил ей Петр. – Страх перед Ничто, перед Нирваной? Но мы исходим не от буддийских концепций, а из индуизма, где понятие Абсолюта полноценнее. Мы идем по пути реализации Атмана, или Абсолюта, Брахмана, который включает в Себя высшее Бытие и Сознание... Забудь о негациях Абсолюта, мы все-таки делаем упор на ином...

– Да, но иногда меня страшат эти Негации...

– Раствориться боитесь, Людушка? – похотливо вставила свое словечко Галя, которая неожиданно многое угадывала – и не первый раз – в их разговорах.

Петр рассмеялся и, дивясь этой догадливости, дружески хлопнул Галеньку по жирной спине.

– В конце концов, важна практика, – сказал он. – Только практика, то есть реализация Вечного внутри нас... И здесь важен наш конкретный русский метафизический путь – наш опыт высшего «Я». В нас ведь это очень глубоко сидит... И чего ты сомневаешься? Неужели в Боге меньше бытия, чем в человеке?! Смотри не переосторожничай, знаю я эту твою высшую трусость...

– Известны два пути, – резко ответила Люда. – Один – вверх: жертвуя низшим, разрушая его в себе, вплоть до Эго, ради высшего абсолютного «Я». Второй – жить... жить... но жить не как все эти несчастные людишки на этой планетке, которые и рта не успевают открыть, как умирают, а тысячи, миллион лет, целую длительность здесь ли, где еще, но непрерывно, не уступая, удерживая ценное в себе... Остановить и сохранить себя, не уходя в Неизвестное, не разрушаясь, не трансформируясь... если не считать, конечно, уже самых неизбежных мелочей...

– Тихим таким демонизмом пахнет от этого вашего второго пути, Людочка, – ответил Петр. – Вспомните: договор с дьяволом, вечное тело...

– Но, во-первых, это не мой путь...

– Ах, вот вы про что! – вмешалась опять Галюша, всплеснув руками. – Демонов и я не люблю, но, по мне, такая бы еще долго, ой как долго в теле бы пожила. Уютство, то какое, прости Господи... Раек сладкий, раек, да и только!..

На двор между тем вышел довольно странный пожилой мужичок Мефодий, чумной, остроносый, и глазом своим внутри себя замутненный. Про него ходили разнообразные полуперелюды. Например, что живет он не с женщинами, а с их тенями, и во время любви ползет вкось, в объятья их теней. Многие от этого истории приключались. Странноватый был мужик, одним словом.

Мефодий мутно оглядел всех троих, сидевших на скамейке, и швырнул в Людину тень небольшую палку. А потом быстро сделал гимнастику, вниз головой.

Все это немного отвлекло друзей от чистой метафизики. Галюша вдруг вытащила, словно из-под земли, бидон еще холодного квасу, а Люда принесла закуску и наливочку. На дворе было почему-то одиноко, а Мефодий отличался своим непьянством.

Приютились. Черные птицы пронесли над их головами, и зашумели в ответ деревья.

– Не видим, не видим мы многого, – проверещала в ответ Галюша.

VII

Первый утробный глоточек прошел за бытие – за вечное и неделимое. Галюша даже немного всплакнула. Петр же, обернув свой лик к Люде, убеждал ее:

– Страх твой, Люда, очень простой источник имеет: атеизм в детстве. Всех нас в свое время накрыл этот ужас: такова уж современная цивилизация. Ведь впервые человек один на один со смертью оказался, без веры. А в детстве, ой, ой как все остро воспринимается, вот и залез некий животный ужас в душеньку, еще бы; я один, кругом тьма, и я умру, и уйду в эту тьму навсегда. Да к тому же дух стал уже пробуждаться, у некоторых даже в очень юном возрасте, бывает, вот и получилось, что даже все, что вечным полагать нужно, разум, дух, держится только в одной точке, в одном теле, и разрушится эта точка – тогда и все погибнет, даже самое дорогое, «я», сознание. Вот откуда и вошло в нашу душу это судорожное цеплянье за жизнь, эта истерика. Ведь согласитесь, даже в девятнадцатом веке такого не было. О, конечно, потом, я имею в виду нас, все восстановилось, пришло в нормальное состояние, вернулась вера в Бога и в абсолютность бытия, но ведь это потом, по мере самодвижения разума. А тот ужас, тот страх безумный вошел с детства, в кровь, и в плоть, и в темные глубины души тоже, и пусть разум его вытеснил из сознания, где-то в наших глубинках, закоулках, он еще живет. Это уже я про вас лично говорю, дорогая моя Людочка...

– Ах, вот как, – рассмеялась Люда. – Но учти, Петр, этот атеизм, – или, точнее, страх, вероятно, не так прост, как кажется. Не исключено, он просто символ чего-то иного, страшного, чего нам не понять. Легко высмеять атеизм, но трудно уничтожить страх, тем более что он может быть намеком на совершенно другую, уже не «атеистическую», а метафизическую ситуацию...

– Хватит, хватит, – вздохнула Галя. – Договорились. Все вы, может, не правы по-своему. Давайте-ка лучше хлебнем немного, чтоб каждая жилочка внутри задрожала. Пока живы.

Прошел хохоток.

– А время и я не люблю, – умильно продолжала Галюша, вытирая платком сальные губки. – Когда выпьешь, время немного утихает, не так бежит. Я помню, Люда, тот наш разговор о времени... Ох!

Мефодий опять приблизился к ним. Был он, замутенный, молчалив, но на этот раз заговорил:

– Может, на кладбище хотите прогуляться. Я люблю...

– А что, тут рядышком кладбище? – осведомилась Люда.

– А то нет. Этого добра везде хватает.

И Мефодий опять подпрыгнул, сделав вокруг себя свою гимнастику.

– На кладбище всегда хорошо прогуляться, – дружелюбно улыбнулась Галя. – Мы с моим мужиком часто гуляем по кладбищу. Так оно, поди, уж закрыто?

– Я дыру в заборе знаю, – уважительно вставил Мефодий.

– Что ж, прогуляться после питья неплохо. Только надо бы его угостить?! – и Петр кивнул на Мефодия.

– Не надо, – шепнула Галя. – Он вообще-то не пьет, а если выпьет, то не такой дурной делается. Смиреет. А сейчас он как раз своеобразный.

– Закаты здесь какие, закаты на этой окраине, – вздохнула Люда. – Всю душу вывернут. Как у вас в Боровске, Галя.

– Я за палкой схожу, – буркнул Мефодий и побежал к дому.

– Без палки он на кладбище никогда не ходит, горемычный, – вставила Галюша. – С кем он там воюет, не знаю.

Тихо допила сладкая наливочка, и с какой-то радостью Галя поцеловал свою Люду. Мефодий не заставил себя ждать: вприпрыжку с палкой в руке и в то же время умственный, он прискакал к друзьям.

Началась вечерняя прогулка.

Мефодий вел изворотливо, кривыми переулочками, то и дело приходилось пролезать в разные дыры в заборах. Петр поддерживал более чем нежную Люду. Мефодий тем временем разговаривал с Галей на своем языке.

– У домов нет теней, я знаю это, Галя, – причудливо-осторожно говорил он.

– Как это так, Фодя?

– Не те тени. Надо, чтобы тень была живая.

– Это которая от людей?

– Угу.

– И что ты, Фодя, говорят, все с тенями знаешься! – вздохнула Галя, пролезая, толстенькая, сквозь дыру. – Нешто тебе людей не жалко, особенно баб?

– Как не жалко – жалко! – Мефодий хотел даже сделать свою безразличную гимнастику. – Но тень, тень она, Галя, особая статья. Вот кого хвалить надо.

– И много ты их захвалил?

– Людям что, Галя, люди они и так счастливые. А тени?! – И Мефодий, шумно вздохнув, погрозил кому-то не то пальцем, не то кулаком – в пространство.

Быстро прошли последние проулки. Шепот из-под углов сопровождал их.

Дыра в этом кладбищенском заборе действительно была, приметная, но вела она не на могилы, а в бесконечную зелень, кусты и деревья, которая скрывала могилы от посторонних глаз. Как только друзья подошли к дыре, из нее выскользнули две девочки-подружки, лет тринадцати, как раз с соседнего с домом номер восемь двора.

– Эх, вы, сластены! – шикнул на них Мефодий.

– А что? – спросила Люда.

– Да за земляницей сюда ходят, – объяснила Галя. – Кругом, за городом, не так далеко, полно земляники, и они сюда приладились: с могилок землянику рвать. Точно она поэтому слаще.

– Ого! – вспомнила Люда. – Как зовут девочек-то?

– Нина и Катя.

– Я знаю больше эту странную девочку Иру, с нашего двора.

– Как ее не знать такую. – Чуть вздрогнула Галя.

– Хорошо! – вдруг закричал Мефодий.

Друзья уже были на кладбище. Первые могилки на их пути расположились довольно хаотично, точно все перемешанные. Лишь цветы и надписи напоминали об уюте. Но потом все стало более нормальным... Любимым занятием Люды в ранней юности было бродить по кладбищу и читать надписи на могилках, представляя себе жизнь ушедших. Но с некоторых времен все эти надписи для нее звучали как насмешка, как игра, как знаменитый балаган иллюзий, называемый жизнью или смертью – все равно. Но в душе оставалось все-таки желание ущипнуть иллюзию за хвост.

Поэтому она, не удержавшись, чуть-чуть, но добродушно пошутила над чистенькой могилкой, за что была сурово осуждена более традиционно настроенным Петром.

– Хоть и хвост, а все-таки уважение надо иметь, – поправил он ее.

– Какие там хвосты, – спохватилась Галюша. – Настоящие чудовища порой тут шляются. Вы не смотрите, что могилки такие прибранные. Знаем мы этот порядочек!

Мефодий прыгнул куда-то в кусты и моментально вынырнул оттуда. В руках он радостно держал две палки. Но глаз его, отключенный и занырливый, был обращен внутрь.

Прошла заблудившаяся группа пионеров с венком.

Мефодий подошел и прошептал что-то на ушко Гале.

– Фодя гадалке показать нас хочет, неугомонный, – провозгласила Галя.

– Где ж тут на могилках гадалка?!

– Да Фодя говорит, одна гадалка здесь по ночам на могилы ходит и мертвым гадает – не то по костям, не то по траве на могиле, про судьбу их, тихих...

– Занятная старушка, должно быть, – вставил Петр.

И Мефодий закружил их по всему кладбищу, от дерева к бревну, от могилы наискосок к могиле вкривь, между кустами – к своей неведомой цели.

«Могила без тени, Петрищева, сейчас, кажется», – бормотал он.

Люда чуть-чуть ушиблась о пенек и с нежностью подумала о боли – ведь все равно это мое бытие, мое ощущение...

Вдруг перед ними оказалась полянка, с почти уже сравненными с землей могилками, только кресты некоторые торчали из будто приглаженной земли. Но где-то в середине поляны под деревом была еще живая могилка, и около нее на бугорке сидела старушка, но очень невзрачная, хотя и с улыбочивым ртом.

– Анастасия Петровна! – прохрипел Мефодий. – Мы к вам!

Друзья, дивясь по-особому, расселись вокруг старушки.

– Как это вы мертвым гадаете? – не удержалась Галюша.

– Не мертвым гадает она, а теням, – вздрогнул Мефодий, – но тем, которые из могилы выходят. Тем она и гадает, про их судьбу и про их странствие.

Старушка, чуть польщенная, даже раздурманилась от удовольствия и смотрела на всех изучающим, но чуть-чуть нездешним взглядом, правда, в строгости.

– Вы бы живым погадали, – усмехнулась Галя, пожав толстенькими плечиками.

– Чаво живым-то гадать, – прошамкала старушка. – Их судьба известная. Я сама живая, – добавила она смущенно, но все-таки как-то аппетитно.

Люда и Петр уселись сбоку от старушки – и замерли. Мефодий сел прямо напротив Анастасии Петровны, как будто хотел играть с ней в домино...

Галюша присуежилась где-то между Людой и Мефодием, поближе к последнему.

– Фодя бы надо погадать... – высказалась она.

Старушка вдруг согласилась.

– Фодя можно, – приветливо глядя на него, сказала бабка. – А нукась протяни обе руки, по-простому, по-людски.

Признаться, никогда еще Люда не видывала такой странной руки, как у Мефодия.

– Кругов-то, кругов, – заохала бабка.

Действительно, все главные линии руки Мефодия, особенно на правой, закручивались какими-то невразумительными кружочками. Линия Судьбы, например, вместо того чтобы подниматься к холму Сатурна, вдруг завертывалась и чуть ли не возвращалась в то место, откуда вышла. Особенно же причудливы были линии, обозначающие счастье, симпатии и любовь: то ли в них виделась звездность, то ли, наоборот, полнейший беспорядок и скачок.

– В полете ты весь, Мефодий, в полете, – пробормотала старушка, – то вверх, то в сторону. Только за кем летаешь-то, за кем гоняешься?

– Главное, что жить, кажется, будет долго, – завистливо вставила Галюша. – Ой, как хорошо! Остановись, время, – и она подмигнула Люде.

И потом откуда-то вынула заветную наливочку. Глотнула из нее, сладко так, почти блаженно, и протянула Людмиле:

– Не брезгуешь...

– От тебя-то? От родной...

И Люда взяла бутылочку.

– Жаль землянички кругом нет, – умильно вздохнула Галюша. – А вон ведь есть... крупные.

И она юрко опустила свою белую ручку под низенький кусточек.

– Лети... лети... Мефодий, – словно заговором проговорила старушка. – Не буду тебе ничего говорить. Только стрясется с тобою, авиатор ты эдакий, приключение одно... Почти на том свете.

– Никакие «приключения» не страшны, – пробормотала Люда. – Главное, жить в своем бытии... Где-то там внутри есть и его вечный пласт.

– Ох, Люда, сложно это, – вздохнула Галюша. – Вот ты мне рассказывала, что брамины учат, есть миры, где существа разумные, как и мы, могут жить по миллиону лет и больше, причем это в теле... в теле... хоть и в другом, чем наше, но не в воздушном каком-нибудь, а в теле... Ох, я бы так пожила, ей-богу, бы пожила миллиончиков пять лет... И все равно мало, ой мало...

– Ну, там время по-иному ощущается, – вставил Петр. – Не так, как у нас.

– Все равно... Лишь бы долго, долго, – ответила Галя.

Мефодий между тем занялся ловлей каких-то насекомых. Старушка, зябко укутавшись в платок, слушала беседу.

– Да и мои... тоже жить хотят, – то и дело вставляла она, подмигивая.

«Где это Мефодий выкопал такую, – подумал Петр, – а может, точнее: где она его такого выкопала?»

Анастасия Петровна сидела на возвышении, на самом, так сказать, его пике, и с дурашливой снисходительностью посматривала на своих гостей. Наливочка была, конечно, предложена и старушке, но Анастасия Петровна с резвостью вылила почти всю долю в землю, поделилась со своими.

– Им тоже надо... сладенького, – шепнула она дереву.

– Где же вы живете, Анастасия Петровна? – поинтересовался Петр.

– В Москве живу. Где же мне еще жить. По Гоголевскому бульвару прописана...

Вдруг стало вечереть, хотя кроваво-нежные лучи солнца еще проникали сквозь деревья. Надо было уходить. Шумел ветер.

– Ну, я вас провожу, – сказала старушка. – А сама пойду пить чай с ночным сторожем.

Кряхтя, она встала со своего возвышения. «Могилка – то девицы, – ласково добавила она, – в девушках ушла».

Путь нужно было держать нелегкий: томление и блаженство растопило почти всех. Один Мефодий был неутомим. А старушка шла, почему-то широко расставив ноги, точно это были у нее ходули. Юбка неопытным мешком покрывала ее плоть.

– Видите, Петр, видите, – повторяла Люда. – Вечность – о, если б в нее войти... А думаю, и теням, наверное, страшно, когда их судьбы предсказывают...

Еле выбрались из запутанного кладбища: перед тем Анастасия Петровна, попрощавшись, потрепала Мефодия по плечу и исчезла по кривой дорожке. Когда подошли к дому № 8, все было уже во мраке, лишь качались деревья от ветра, точно темные призраки, и горели огни в окнах. Мефодий тут же юркнул куда-то в сторону.

VIII

Галюша решительно предложила зайти всем оставшимся (Люде и Петру) к ней домой, в ее квартиру из двух уютных комнат, благо мужа с сынишкой десяти лет она отправила в деревню – отдыхать.

Шли – даже по земле – осторожно. Лестница была скрипучая, деревянная, и квартирки, как норки, теснились здесь плотно друг к другу. Но у Гали оказалось очень родимое, вовлекающее гнездо, где можно было быть самим собой. Дружелюбно расселись за столиком с простой клеенкой, у окна, за которым трепетал клен.

Галя быстренько собрала – для уюта – маленький ужин под ту же наливочку, которая у нее была неиссякаемая.

Но внезапно – за стеной, в соседней квартире – раздался резкий истерический крик, послышалось падение чего-то тяжелого и затем не то ворчание, не то сдавленный стон.

– Ох, как раз с этой квартирой беда, – вздохнула Галя, – ведь там живет Ира.

И она посмотрела на Люду. Петр немного заволновался – по интеллигентской привычке.

– Ничего, ничего, Петр, – и Галюша сладко опрокинула в себя рюмку с наливочкой. – Люда знает, у нас в доме жильцы все смирные, бывалые, ну, конечно, Мефодий со странностями, но только одна эта семья Вольских не удалась. И как раз наши соседи.

Крик повторился.

– А что за Ира, что за суровая женщина? – спросил Петр.

– Какое! Девочка 13 лет.

– Ого!

– Она кого хошь на себя наведет, хотя сама в малых летах. Я, Люда, скажу, что нарочно своего Мишку в деревню сплывила. А то боюсь: Ирка попортит.

– Хороша! – вставила Люда.

– Да, у нее глаза-то какие, Люд, тяжелые и опять же безумные, ты сама мне говорила, – ответила Галюша, взглянув на невидимый во тьме клен. – Потом, Зойка, ее мачеха, мне рассказывала, что она крест нательный чей-то украла и оплевала... Ну, зачем это ребенку, она ж не понимает в этом, а так ненавидит крест изнутри. Тут что-то не то!

– Месть за детские крестовые походы, – рассмеялся Петр.

– И все-таки ее жалко, Ирку, – поправила Галюша.

Опять раздался истерический крик.

– Я б сына своего и на лето при себе оставила, да боюсь Иркиного разврата. Хоть с квартиры съезжай, – совсем задумалась Галя.

История Иры – по большинству источников – была такова. В тяжелые, послевоенные годы ее мать-одиночка побиралась вместе с ней, с малолетней девочкой, по деревням и городам, где-то в запретной глуши, в Сибири.

Однажды мать забрела на край маленького города, в какое-то общежитие, на отшибе, где жили рабочие какого-то далекого племени, собранные бог весть откуда. Хотела мать чего-нибудь попросить у них и сплясала для этого, по своему обыкновению. Но вместо отдачи рабочие эти, убив, съели ее, а про девочку-малютку позабыли. Ели они ее в большой общежитской столовой, сварив предварительно в котле. А забытая девочка ходила между ними, сторонилась и молчала, глядя, как они ели.

Потом один рабочий, наевшись, пожалел ее, спрятал и затем вывел в город. Говорили потом, что девочка все-таки не осознала в точности, что случилось с ее матушкой-плясуньей.

В городе ее приютили добрые люди, потом передали другим людям, потом официально выяснилось, что ее мать съели, и это было записано в закрытой Ириной характеристике, в детском доме. Прочитала как-то эту характеристику бездетная тридцатилетняя женщина Зоя

Вольская, сама плясунья и шалунья, застрявшая в сибирском городке проездом из Москвы. И пожалев сиротку, особенно потому, что с ее матерью так обошлись, взяла девочку к себе, в Москву, в дом номер восемь.

Жила Зоя там в квартире вместе со своим оголтелым мужем Володей и со своей матерью Софьей Борисовной, старухой со скрытыми странностями.

И жизнь Иры потекла более или менее нормально, до тех пор, пока у нее самой не обнаружились – уже открытые – странности. Но до этого все шло хорошо. Зоя, правда, все больше и больше спивалась, лихо и неестественно: красавица она была, хотя и не нашедшая себя. Володя был чуть дурашлив, хотя в то же время чересчур строг; тайно сожительствовал он и со своей тещей, Софьей Борисовной, со старушкой, но это было как-то вне его сознания и мимоходом. Зато Софья Борисовна заботилась о нем. Зоя же об этом ничего не знала: ее и саму несло бог весть куда, и она нередко пропадала целыми ночами. Ира же росла здоровой девочкой. Жильцы были кругом тихие, радушные и проникновенные: Иру никто не обижал. Ненормальность у Иры обнаружилась как раз с того времени, когда у нее, у ребенка, появился почти взрослый ум. И вообще многое у нее было связано с умом. Все это достигло кульминации совсем недавно, когда Ира предложила Володе оставить Зою и сожительствовать с нею одной. Зоя потом, ругаясь, рассказывала об этой истории Гале. А до этого была дикая, неостановимая похоть, которая бросала Иру от мужика к мужику, в сад, в канаву, куда угодно...

Этим она совсем свела с ума своих новых радетелей. Была она девочка крупная, в теле, с брюшком, несмотря на детство, и с быстро развивающимся, как змея, острым умом. Уже в одиннадцать лет она страстно мечтала устроить свою жизнь, поскорее стать взрослой, чтобы пожить по-своему, в сладости и независимо.

В двенадцать лет она потеряла свое девство в пионерском лагере, с пионервожатым, которого умудрилась сама же соблазнить. Ее чудовищная безудержность в этом отношении переполошила весь двор, и все ее стали сторониться как чумы. Даже в школе недоумевали и не знали, что делать, стараясь не замечать...

Действительно, ее сладострастие не знало границ: даже во время приготовления домашних уроков она звала Володю и терлась около него, пока он, полупьяный, объяснял задачку.

Простая подушка превращалась для нее в стимул страсти, и пот наслаждения все время стекал по ее лбу.

Особенно выводило это из себя Зою. «Я когда-нибудь удушу ее», – думала она в тишине. Особенно бесила ее эта наглость и непрерывность сладострастия любым путем, в соединении с детским пухлым личиком и невинными годами. Было и еще нечто тайное, что, может быть, больше всего изводило Зою изнутри.

А ум у девочки продолжал развиваться не по дням, а по часам. Она уже творила невероятные подлости. И во всем этом виделось желание жить, жить, чтобы расширить поле сладострастия, чтоб стать скорее взрослой, чтоб не упустить свое...

Детишки пугались Иры и удирали от нее. А ее расчетливость приводила в ужас жильцов, которые любили другую жизнь.

Люда познакомилась с Ирой почти сразу же, как переехала сюда, в дом номер восемь по Переходному переулку. Первым делом Ира попыталась и ее соблазнить: вообще ей было все равно, кого «соблазнять» и чего (хотя бы угол стола), и она уже имела опыт любви с девочками. Люда, утихомирив ее и отстранив, стала тем не менее страшно жалеть ее, сама не зная почему. Хотя жалеть ее было трудно: она непрерывно делала посильные подлости кому могла. Вот тут ее «расчетливость» разрушалась силою детской импульсивности и бесконтрольности, и она порой вызывала к себе ненависть и отвращение, хотя жильцы умудрялись ото всего быть отключенными.

Однако Мефодий пристально раскрывал на нее свой болотный зрак. Был он только не раз, глядя на нее, а на других никогда не выл. Было в ней, ко всему, еще что-то тяжелова-

тое, страшное, и это «что-то» выражалось во взгляде, который одновременно был каменным и безумным, как определили этот взгляд Галюша с Людой.

– И чего она так мир етот любит, – ворчал пьяный инвалид Терентий. – Ведь в этом миру ее мать на ее глазах съели... Что ж у нее за глаза после этого такие жадные? Другие бы после такого ни на что не глядели, а у ей...

И он махал хмельной рукой.

Да, жадна была Ира до жизни, но любила «етот» мир Ира по-своему.

Такова была эта девочка, чей крик раздавался за непрочной стеной Галюшиной квартиры.

– Позвать милицию, что ли, – не выдержала наконец Люда.

– Ежели будет так дальше, то позовем, – неуверенно пробормотала Галя.

Однако вскоре шум затих, но потом дверь Галиной квартиры распахнулась, и на пороге появилась сама Зочка, растерзанная и с папиросой в руке.

Она вся дрожала.

– Не могу я с ней, не могу! – проговорила она. – Дайте водки!

Галя плеснула наливочки.

– Вечная сластена, – недовольно взглянула на нее Зоя, но наливку залпом выпила. – Ух!

– Ну, что? – спросила Галя.

– Ничего не хочу говорить.

Видно, Ира так сексуально набедокурила, что Зоя не находила и слов или даже стыдилась. Закурив, она присела на стульчик и замолчала.

– Да отдайте вы ее куда-нибудь, хоть в детдом, – взмолилась Люда. – Добром это все не кончится!

– Не можем. Такое стечение обстоятельств. Долго рассказывать, но по документам теперь она наша подлинная дочь, и мы ее сдать государству не можем.

Зоя встала, походила по комнате и начала ругаться, проклиная свою судьбу, наговорила что-то нехорошее на ангелов и исчезла за дверью, хлопнув ею как следует, но перед этим выпив еще на прощание целый стакан наливки.

– Что ж она такое могла натворить? – вслух рассуждала Галя. – Ума не приложу. Кажется, уж чего она только не вытворяла, ко всему привыкать стали. Только что с собакой не спала, но у Вольских собак нету.

– Такая уж ее звезда, – вздохнула Люда.

– Из того, что ты говорила мне, Люда, думаю, крепкие знания тут нужны, чтоб помочь Ире. Но это неспроста, – проговорил Петр. – Это необычный случай. И простая медицина тут не поможет. Как ты считаешь, можно ли кого-нибудь найти в Москве из знатоков таких ситуаций?

– Надо подумать. Жаль девочку. Уж чересчур все это. Но в ней, в ней ведь все дело. И потому как можно изменить? Чужую звезду ей не привесешь. Но поискать надо, и ты поспрошай...

Шум за стеной стих, казалось, навсегда. Выпив по последнему глоточку, все наконец разбредлись: Люда спяну осталась ночевать у Гали, а Петр уехал на такси домой.

Девочкам среди ночи казалось: что-то бьется и шевелится. Но ни о чем подумать было нельзя, сковывали сновидения.

Люда не хотела в этом признаваться даже Гале, но с Ирой ее связывал какой-то внутренний ночной союз, скорее даже не «союз», а, может быть, бред, точно ее темное «я», ее двойник, тянулся к Ире.

Помимо чисто внешних встреч – на улице, во дворе (в конце концов, девочка была ее соседка) – произошло еще что-то, но уже в душе Люды – только в ее душе. Никто кроме нее

не знал об этом, лишь, может быть, сама Ира отдаленно чуть-чуть догадывалась, ничего не понимая в целом.

История была такова.

Несколько раз Люда, наблюдая за девочкой, поражалась ее внутреннему состоянию – вдруг в каких-то чертах очень сходному с ее собственным: так, по крайней мере, казалось Люде.

Однажды они вместе были на опушке леса. Ира лежала в траве, почти голенькая. Внезапно поднялась сильная буря. И сразу же одно дерево – видимо, гнилое – начало падать на землю, прямо на Иру. Она в ужасе отползла. А потом замерла, лежа, чуть приподнявшись. Глаза ее неподвижно впились в мертво-лежащее дерево, которое чудом не раздавило ее, как лягушку, наполненную человеческим бытием.

И Люда видела, как прозрачно-дрожащий пот покрывал ее лоб, плечи, как дрожали линии живота. Это не был обычный физический страх, а безмерный, отчаянный, как будто все мировое бытие соединилось – в ее лице – в одну точку, и эта точка могла быть раздавлена – навсегда. Ужас превосходил человеческий, хотя сама девочка, может быть, этого не осознавала. Люда видела только – особенно отчетливо – ее дрожащее, точно в воде, лицо и глаза, застывшие в безумном космическом непонимании за самое себя.

Во всяком случае, все это Люда мгновенно ощутила в подтексте ее страха.

«Девочка еще не может все осознать, – подумала Люда. – Но подтекст, подтекст. Я чувствую, это мой подтекст, мои прежние бездонные фобии за себя в детстве... Когда нет бога и вообще ничего нет, а есть только ты – одна как единый космос, – и ты должна быть раздавлена. Фобии плоти и «атеистических» парадоксов в детстве и ранней юности».

Потом Люде стало казаться: она преувеличивает, у Иры не может быть такой подтекст, потому что это слишком сложно для нее, и, наконец, не может быть такого поразительного сходства. Тем более во многом другая девочка отталкивала Люду и даже пугала ее. Ирины холодные глаза, с тяжеловатым бредом внутри, хохот, грубая открытая сексуальность вызывали отвращение.

«Какая это не-я», – говорила тогда самой себе Люда.

Но внезапно тождество опять всплывало, и самым странным образом.

Однажды Люда увидела, как Ира спала – одна на траве. Она замерла в трех шагах, глядя на нее. Ира спала как все равно молилась своей плотью (своей родной, дрожащей плотью), точнее, бытию плоти, и формой молитвы было ее дыхание – прерывистое, глубокое, страшное, идущее в глубь живота... (с бездонным оргазмом где-то внутри).

Все это вместе и отвращало и влекло Люду к ней: патологически влекло, точно она видела в ней свое второе «я» или темную сторону своего «я». «Но почему темную, – возмущалась в уме Люда, – просто... таинственную сторону... Боже, как она дрожит за свое бытие. (Ее смерть будет как мучительный прерыв оргазма.) Да-да, есть что-то общее у меня с ней, до сумасшествия, но в то же время и какое-то резкое различие, до отвращения к ней. А в чем, в чем дело на самом глубинном уровне – не пойму. Иногда мне хочется сжать ее и зацеловать, иногда – проклясть... Брр!»

И еще – один ее знакомый (словно день превратился в сон) сказал ей: «Да, да, вы очень, очень похожи...»

Ира стала даже сниться ей, словно девочка, как змея, вползала внутрь ее собственного бытия, слилась с ним, и обе они – Ира и Люда – были вместе в ночи: от страха и блаженства быть, покрываясь смертным потом, словно приближался к ним – в ночи – грозный призрак, готовый остановить их сердца.

Люда и сама – в полусне, в полубреду – хотела бы съесть собственное сердце – от наслаждения жизнью и чтобы чувствовать в своем нежном рту его блаженный стук. «Кругленький ты, как земной шар», – стонала она во тьме, прижимая руки к груди, где билось оно.

Ируня пугала ее еще и некоторым сходством – духовным, конечно, – с тем мальчиком, в которого она была влюблена в детстве и который исчез. Тот-то вообще сошел с ума, надломился от чувства самобытия – и потому навеки пропал.

«Где мальчик-то, где мальчик?» – бредила Люда порой во сне. Тьма ночная тогда наступала на нее, и видения в мозгу путались с мистически-тревожным биением собственного сердца. Плоть превращалась в дрожащую воду, в которую смотрели звериные призраки. И только возвращение из сна к дневному блистательному «Я» – спасало ее от привидений.

Днем, конечно, Люда могла полностью контролировать себя, и собственный Свет сверху над головой (как у браминов – улыбалась она самой себе) умерял метания плоти и ночного «я», и она ужасалась Ириной извращенности и грубости.

– Она уже сложилась, она будет такой и взрослой, – думала Люда. – Что-то в ней есть такое глубокое и хорошее, но повернутое не в ту сторону и превратившееся в свою противоположность. – И она порой вздрагивала, глядя на Иру, от каких-то странных ассоциаций.

IX

Утро встретило проснувшихся Люду и Галю вездесущим солнцем: его лучи уже всю согрели комнату. Крик радости слышался с улицы. К тому же было воскресенье. Во дворе уже что-то происходило: толстый человек катался по траве, возле сарая, пытаясь уловить свое бытие.

Люда с Галей убежали сразу к озерку: искупаться по-раннему. И были, проходя мимо одного дома, поражены, как отдыхали, лежа на раскладушках в саду, две женщины. Отдыхали неподвижно, таинственно, уйдя в себя, и словно где-то внутри ужасаясь своему бытию. И в то же время объятые сознанием какого-то бесконечного и жуткого владения – владения своим бытием.

На озерке было нелюдно, по-деревенски тихо и тепло. Две девушки нежились на песке, замерев. Еще кто-то был в воде...

– Как бы не погибнуть, – мелькнуло вдруг в голове у Люды, – в воде-то этой...

Тут же подул легкий ветерок...

А возвращаясь после купания домой, они увидели во дворе Иру. Разнузданной походкой, веселая и довольная девочка ковыляла прямо к подругам. В руке ее был мяч: видно, только что играла с девочками и ребятами в волейбол.

– Давайте поиграем, – сказала она.

– Играй с детьми, ишь ты, – промолвила Галя.

– Ну, я поиграю с ней немножко, – ответила Люда. – Отдохну чуть-чуть.

Это было как-то уютно и забавно – играть вдвоем во дворе в простой волейбол без сетки: ребенок тринадцати лет и взрослая женщина. Но Ирины глаза были недетские, и, кроме того, Люда чувствовала, что Иру мучает, влечет желание. Вернее, не мучает, а полностью совпадает с ее детской волей. Оттого и глаза у нее были такие устремленные.

Наконец, когда играть кончили, Ира тут же подошла к Люде.

– Какая ты толстенькая, Ира, – проговорила Люда, – вредно так много есть.

– Почему ты не со мной? – прямо спросила Ира.

– Ты опять за свое?

– Почему ты не хочешь со мной быть?

– Ты понимаешь, что говоришь?!

– Эх, скорей бы мне стать взрослой и жить по-своему. Никак не дожусь.

Человек, который катался по земле, пытаясь уловить свое бытие, теперь уже сидел на траве и с умилением глядел в одну точку. В то же время было такое впечатление, что он потерял что-то, и вид его был взъерошенный и лихой.

– Ира, скажи, почему ты оплевала крест?

– Я тебя заметила давно, – спокойно ответила Ира, не обращая внимания на ее слова. – Какое у тебя нежное тело, не у всех такое бывает. Почему так? Отчего у тебя такое?

– Что ты мелешь? У всех женщин такое.

– Нет, у тебя особенное, – сурово сказала Ира и вдруг погрозила ей пальцем.

– Ира, покажи-ка мне свои ладошки, обе.

Ира пристально, как-то не по-детски, взглянула на нее.

– Гадать? Не хочу.

– Почему?

Ира замолчала. И вдруг спокойно, неуклюже повернулась к Люде.

– Если будешь со мной, то...

– Ирка, молчи, молчи, дура... плохи твои дела, хочешь я тебе помогу, съезжу с тобой...

Ведь что творилось ночью у вас!

Ирины глаза вдруг расширились от страха. Она неожиданно вспотела.

А вдаль, в закутках, уже тихо кувыркался Мефодий. Наступило долгое молчание. Вскоре страх у Иры исчез. Она присела на скамейку, рядом с Людой, и замерла. Вся ее поза теперь выражала бесконечное внутреннее сладострастие. И даже тело чуть колебалось в такт этому сладострастию. Но взгляд был суров, не нежен.

– Смотри, девочка! – вдруг повинувшись какому-то голосу, воскликнула Люда и встала со скамейки.

Мяч покатился по траве, тронутый ее ногой. Люде стало страшно. А Ира уже смотрела куда-то вдаль, в сторону.

Люда тихонько ушла.

На другой день она решила покинуть свой дворик и съездить в Москву, в центр, к «своим». Люда сначала поехала на трясущемся трамвайчике; проезжая мимо кладбища, она заметила спешившую Анастасию Петровну, всю в черном, словно та была монашка теней.

«Свои» были разбросаны по всей широкой матушке-Москве, а ведь раньше все сосредотачивалось в центре. Там и сейчас оставались многие...

Приехав, она решила завернуть в тихие арбатские переулочки; там были два великих «гнезда», две квартиры, два «центра», где собирались новейшие искатели Вечности.

На одной из них собирались она и ее друзья. Они были связаны с индуизмом, с концепцией Атмана, высшего бессмертного «Я», заложенного в человеке, которое не только надприродно, но и отличается от человеческого Эго, ума и индивидуальности, ограниченных и временных. Следовательно, по существу – согласно этой доктрине – высшее «Я», Атман, есть не что иное как Бог, Брахман (Абсолют), и высшее «Я» человека, таким образом, неотделимо от Божественной реальности, которая едина метафизически, но не «математически».

Пути к этому высшему «Я» были известны из древней Традиции. Существовал Учитель, получивший инициацию... И сама их группа была только частью глубинного движения...

Но дело заключалось не только в этом. Для многих участников этого движения – в начале всего лежал собственный опыт, опыт поиска и реализации в самом себе высшего божественного «Я» и жизни в нем. Этот их опыт как бы чуть-чуть преображал «традиционный индуизм», в теорию и практику которого вносились существенные дополнения и «поправки». Некоторые даже сами по себе приходили к этой практике, открывая свои методы, и только потом узнавали, что нечто близкое – по цели – существует и в Индии. Да и сама метафизическая духовная окраска, сам опыт своего высшего «Я» был неожиданно-особенным. Поэтому многие группы считали себя последователями «русского индуизма». Существовали также в этом движении и «ответвления», иногда уже совершенно оригинальные...

Люда чуть бледнела от нежности к своему бытию, когда думала обо всем этом...

Приближаясь к Арбату, вспомнила она и о другой квартире, где собирались те, у которых она бывала редко, и там творилось порой нечто еще более таинственное, чем «преображение в Божество». Она слышала там иногда такое ошеломляюще загадочное, жутковатое, от чего подкашивались ноги и волосы вставали дыбом, но потом все тонуло в фантастическом смехе – когда она сидела среди них, дружески принятая, за старинным огромным столом.

Иногда она слышала что-то подобное от Кости, человека с портфелем, как его называли, который был как бы соединительным звеном между разными метафизическими кружками. Костя часто изумлял Люду: откуда он черпает столько невероятного, когда вдруг перечеркивалось все и ум отрекался от постигнутого. И подтексты, подтексты, подтексты, которые как волны уносили сознание в новые состояния.

Люда, охваченная всеми этими воспоминаниями, зашла в уютное арбатское кафе, недалеко от метро. Взяла кофейку и сигарет. Огромный великий город жил своей жизнью, в ее разных пластах, в том числе и глубинных, неуловимых и странных. Люда вся пронизывалась токами, исходящими от эзотерической Москвы.

Она снова вспомнила Костю. Но на сегодня было достаточно подтекстов. Она подумала о себе, о своем спасении в собственном вечном «Я», и о том, что она должна помочь другим, той же своей Гале, у которой такая верная утробность и интуиция, но столько провалов... Она, например, смутно, не вплотную улавливала всю пропасть между бытием в форме так называемой жизни и надприродным вечным бытием внутри высшего «Я»...

Люда встала и вышла из кафе. Через десять минут она была во дворе у небольшого деревянного уютного домика, затерянного среди громад новых зданий. Постучалась. Раздался веселый голосок хозяйки одного из дополнительных «неофициальных» салонов, где часто устраивались читки.

– Как ты вовремя, уже собрались, – хихикнула хозяйка, – даже Костя объявился, как с гор.

Люда вошла. В комнате за большим круглым столом сидели несколько человек, другие бродили по комнатам.

Костя, разливая чай, хмуро-внимательно посмотрел на Люду. Чай как-то стармонизировал обилие вина. На этот раз «сборище» было чисто литературное, в очень редком составе. Никаких крайне метафизических разговоров, понятных лишь посвященным. Читать должен был молодой человек, чуть-чуть восторженный, свою прозу. То был начинающий подпольный писатель, но уже отмеченный вниманием знаменитых «неконформистов», в том числе метафизиков. Один рассказ назывался «Лунный знак голого человека», второй – «Пузырь в лесу». Сразу как-то стемнело, то ли закрыли окна, то ли еще что; вспыхнули свечи на столе; все затились; некоторые расселись по углам, на полу, со стаканами вина.

Люда только-только успела усестись и глотнуть полстакана, как Виктор (так звали писателя) начал читать. Читал он одновременно искренне и артистично, иногда переходил чуть ли не на крик, но тем не менее получалось отлично.

Первый рассказ был про смерть эксгибициониста. Про скандальную смерть. Кто-то хихикал в углу в ответ на сценки в рассказе; девушка в зеленом плакала; кто-то бесшумно пил стакан за стаканом – так уж действовал рассказ.

Под конец чтения Люда поцеловала писателя.

Комната была уже в дыму, почти во мраке, только лишь в островках света. Чтение перешло в бессвязное, чуть истерическое обсуждение: одни твердили Виктору о его герое и о своих печалях одновременно, другие укоряли его за ужас, третьи наливали ему в стакан вина, чтоб он отошел. Беседа то вспыхивала общая, то распадалась по маленьким кружкам из трех-четырех человек, то перекидывалась от Гурджиева до Достоевского или до личных видений...

У Люды уже возникло полубезумное настроение. Однако Ира часто вставала пред ее глазами. В тихом бреде она начала рассказывать одной своей приятельнице об эротико-окультиной ситуации Иры, и о том, как ее спасти.

– Да, если с любовью и милосердием – все можно, – отвечала та. – Только дурость должна быть во время этого спасения; если по-умному делать: ничего не получится – съест она себя... Дурости побольше.

– Это вы точно заметили насчет дурости, – бросил на нее взгляд подвернувшийся Костя.

– Нет, нет, – вмешался вдруг толстый человек в очках, художник. – Извините, я слышал ваш разговор и все понял. Ее, Иру, нельзя спасти, слишком ее утроба демонична.

– О Боже, какая у вас интуиция, чутье, но что вы о ней знаете, демонолог этакий...

– Да я и говорю, что эксгибиционизм героя, – вдруг потянул за руку Люду откуда-то появившийся лохматый человек со стаканом вина, – не носит характер некрофилии, хотя обнажается герой Виктора фактически перед своей собственной смертью; нелепо тут видеть трупный эксгибиционизм макаровских героев, Виктор – это не Макаров. Тут эксгибиционизм жизни, сексуальное заигрывание со смертью с целью как-то выжить, черт побери, выжить на эротике...

– Да, и я говорю, что Виктор – не Макаров, – отвечала Люда.

– Нельзя, нельзя так, господа! Все равно ждет что-то страшное...

– Страхное надо сделать смешным...

– Никогда, никогда это не удастся, пока есть страх за «я»...

– А если он будет побежден?

Опять вмешался художник:

– Ваша Ира, Людочка, ужасна не своей похотью, а разумом... Но пусть, пусть, ищите экспертов, чтоб ее спасти...

– Но Витек определенно талантлив, – раздался голос слева. – Конечно, у него нет этой... сверхдостоинства, но все же для начала очень недурно... даже блистательно.

Наконец Люда, повинаясь новому порыву, отвела в сторону Костю и рассказала ему об Ире – он, Костя, великий «соединитель», подумала она, он проникает во все кружки, самые странные, и может посоветовать по большому счету...

Костя спокойно выслушал ее и после молчания, которое вошло в нее как метафизический подарок, вдруг сказал:

– Думаю, что найду такого человека, который мог бы ей помочь... Вполне вероятно... А может быть, сейчас махнем к Петру? Что-то здесь слишком шумно. Отсидимся за чаем.

Люда согласилась. Правда, расставаться со всеми было жалко, и вместе с тем Люде хотелось побыть в спокойствии. После бесконечных поцелуев, вздохов, как будто прощались на полмесяца, а не всего на несколько дней, Люда выбралась на улицу вместе с Костей...

...Петр быстро впустил своих экзотических друзей к себе в квартиру; идти пришлось мимо комнат родителей, которые добродушно-недоброжелательно относились к знакомствам своего сына, астронома по специальности.

– Буржуазны, как Эйфелева башня, – шутил о них Петр.

Ритм отключений сразу увел всех троих.

Разговор заметался от совершенно сумасшедших и диких историй, случившихся с разными людьми, до утонченных нюансов, связанных со спонтанной реализацией абсолютного «Я».

В «историях» же всегда был заложен смысл, тайно-невероятный смысл, далекий и от логики, и от добра и зла, и от всего «человеческого», тайный смысл, превращающий эти истории в какой-то космологический бред, как будто такие случаи словно специально подкидывались нашим героям.

Одна история, впрочем, не такая уж значительная, почти обыденная, совсем умилила Люду.

Речь шла о малыше из дома, где жил Петр, мальчике, который хотел покончить самоубийством, и падал для этого с низкого второго этажа, но таинственным образом не повреждался. В течение месяца два-три в неделю он так упорно падал, точно в заколдованном круге, будучи не в силах добиться своего, пока секрет его не открылся. Один мальчуган с соседнего двора так и прозвал его потом: «павший ангел» – и эта кличка прилепилась к нему. Но после всей этой истории он вдруг стал необычайно умнеть, словно ум для него оказался формой его любимого занятия: самоубийства...

А потом дух ее возвращался к бытию, к тому бытию – высшему – такому неуловимому, такому сладостному и вечному, точно бездна, скрывающаяся за формулой «Я есть Я»!

И вместе с тем все время в сознании Люды мелькали загадочные картины, провалы, нет, судьба Иры немного отодвинулась, но вдруг возникли на первом плане все наиболее невероятные личности или «существа» ее последних встреч: Мефодий, «Настенька» и один их непонятный «знакомый», затмивший все приходившие ей на ум. И слышались, вспоминались намеки на его «логово», на каких-то странных созданий там...

На волнах всех этих бесед, внутренних намеков, надежд, воспоминаний Люда покинула своих друзей, чтоб возвратиться домой...

И все неожиданно спуталось в ее уме, и вместе с ясным знанием о свете вечного собственного «Я», в душе Люды, необозримой и бесконечной,плыли другие бездны и темные провалы...

– Чувствую, что-то со мной происходит, – думала она. – Неужели... Неужели... Как страшен мир! Но как невероятно Россия!

По дороге, в метро, ей попалась одна очень дальняя знакомая, девчонка лет двадцати трех с парнем; оба они были полупьяные и возвращались с другого чтения, кажется, самого Макарова. Она остановила Люду, ее звали Вера, и что-то долго говорила о секретной астрологии и о том, что должен родиться ребенок, который... Рядом безумствовал парень...

Люда потом мучительно вспоминала, где она последний раз видела эту девочку, кажется, на поэтическом вечере, после которого говорили о гаданиях по предыдущим воплощениям...

Наконец Люда выбралась из метро. Полил теплый ночной дождик, и было радостно и умирительно, словно кто-то согревал землю. Поздний трамвайчик возвращался на круг. Мелькали деревья, крыши, сады, она была недалеко от дома.

Войдя во двор, она заметила, что в квартире Вольских горит свет.

– Видно, бродит Ира, – подумала она.

Х

Между тем в квартире Зои творилось черт знает что. Пока Люда бродила по Москве, слушая подпольные чтения, у Вольских произошли самые черные события. Началось все часов за пять-шесть до возвращения Люды домой. Старушка Софья Борисовна уже спала в своей комнатке, заставленной непонятными фотографиями. Володя тихонько пил водку, Ира исчезла в ванной, а Зоя только что возвратилась из кино. То, что ванная была заперта, взбесило ее.

– Когда эта тварь уgomонится?! – закричала она, бегая около невозмутимого Володи. – Голову даю на отсечение, она мастурбирует там. Но ведь все последние дни она поздно приходила – спала с этим парнем. Я видела его и сегодня, она от него и пришла. Но разве эта тварь когда-нибудь насытится?! Ребенок называется! Когда, когда это кончится?!

Володя пил, курил и молчал. Зоя ревела, кричала, рвалась в ванную, но все напрасно. В бешенстве она выскочила из квартиры. И, встретив во дворе знакомых, окончательно завелась. Она отсутствовала, наверное, часа два, пропадая у соседей по поводу девочки, которая боялась смерти, но во время всей этой суматохи мысль об Ире не оставляла ее. Ненависть душила ее. Особенно почему-то возмущала Зою наглость и почти непрерывность Ириногo сладострастия в сочетании с холодным, почти взрослым умом девочки, все это над собой наблюдавшим.

В таком состоянии она вернулась домой. И застала сцену, помутившую ее мозг. В столовой на диване лежала голая Ира, вся растекшая от неги, а рядом с ней сидел Володя в одной рубашке, без трусов. Только из маленькой комнатухи доносилось сладкое похрапывание Софьи Борисовны.

Ира умудрилась тут же вскочить и стремглав убежать в свою комнату, запереvшись там. Но Володя, однако ж, растерялся и оторопело смотрел на Зою. Ярость последней выразилась, однако, как-то странно: она мигom подскочила к Володе и плюнула ему в лоб. После этого она приказала Володе убираться из квартиры и не считать ее своей женой – навсегда. Володя, обычно не робкий, но почему-то покорный жене, стал собирать вещи. Зою всю трясло как в ознобе. Володя торопился и, быстро допив водку, ушел. Зоя знала: к ближайшему соседу, через квартал, к дружку, так как было уже поздно. Злоба и желание отомстить Володе объяла ее, на время даже затмив ненависть к Ире.

В квартире стало пустынно и тихо. Софья Борисовна была чудовищно покойна, когда спала. А Ира словно замерла в своей комнате. Зоя долго не могла прийти в себя и бродила по комнате и коридору. У нее возникла даже мысль запереть Володю в тюрьму, раз и навсегда избавившись от него. Но для этого нужны были бы показания Иры, в том смысле, что Володя ее растлил. Тогда за растление ребенка ему могли бы дать много лет. А он, со своим здоровьем, долго бы не выдержал, издох, думала Зоя. Однако многое зависело от медицинского осмотра Иры и от «легенды». А Иру нетрудно было бы уговорить, эта тварь способна на все.

Конечно, по существу, Зоя была убеждена, что растлительницей выступала Ира, что именно она инициатор. «Ира уже давно лезла к нему», – вспыхивало в сознании Зои. Попеременно ненависть то к Ире, то к Володе волнами сменялась в ее душе. Она не могла сосредоточиться сразу на двоих; когда думала об одной, забывала о другом, и наоборот.

Так в полудреме и тоске прошло много времени. Приближалась настоящая ночь. Зоя иногда ненадолго выскакивала из дома и в легком забытии бродила во дворе. Иногда ей казалось, что кто-то за ней следит. Шорох, дыхание, тьма. Но как будто никого не было...

Вернувшись, она наконец вздремнула на диване, при свете. Но вскоре проснулась и опять стала ходить по квартире. Старуха, конечно, глубоко спала. Эта история извела Зою. Естественно, то, что натворила Ира два дня назад, когда Зоя принеслась к Гале и ее друзьям, не решаясь, однако, им высказать и тень того, что произошло, было невероятно, инопланетно,

история с Володей казалась чепухой сравнительно с тем. Но это не касалось ее лично. А теперь касается.

В своем возбужденном хождении Зоя несколько раз останавливалась перед дверью в комнату ребенка. Свет от настольной лампы горел там, но Зоя чувствовала, что девочка в конце концов заснула. Вдруг ей пришло в голову открыть дверь. Она запиралась только на крючок. Зоя была уже босиком и ступала беззвучно, как ангел. Она достала железку, просунула в щель (дверь была чуть-чуть покосившаяся, ненадежная) и скинула крючок. Тихо открыла и вошла.

Девочка не проснулась. Она лежала на постели, скинув до живота одеяло, и глубоко дышала. Руки ее были раскинуты, рот полуоткрыт, и сладострастный пот стекал с жирного тела, особенно с нежных, интимных ямочек. Видимо, вся она и все ее тело было пронизано до сих пор сладострастными токами, и она теперь наслаждалась ими, может быть, еще сильнее, чем наяву. Возможно, даже во сне она погружалась до конца в какое-то бесконечное удовлетворение...

Мгновенная ярость охватила Зою. Эта вспышка ненависти в мозгу бросила ее к постели девочки. Судорожно Зоя протянула руки к пухлому горлу Иры и, повинаясь своей бешеной воле, стала душить ее. Та начала дергаться, хрипеть, но силы Зои удесятерились, и потом вдруг все кончилось... и девочка из мира сновидений перешла в так называемую другую жизнь.

Зоя подпрыгнула и в ужасе отскочила от кровати. Ее трясло, но к сердцу подступала радость. Она бросила истерический взгляд на труп. На вид это было еще живое существо. И Зое показалось, что пот сладострастия по-прежнему стекает с нежной, но уже мертвой плоти девочки, особенно с ее лба. Но вместе с тем могло быть такое впечатление (у знатоков, если б кто-нибудь из них втайне взглянул на нее), что глаза Иры уже ввалились в самое себя и как бы безвозвратно открылись внутрь, и она видит уже не мир, а только свое собственное темное существо во всех его катастрофах и бесконечности. Возможно, Ира даже не узнавала в этом новом и страшном существе самое себя, или...

Зоя вышла, захохотав, из комнаты и хлопнула дверью, как будто рассердилась.

Это было как раз той ночью, когда Люда, замученная своими мыслями, возвратилась домой и увидела свет в окнах у Вольских. И была поражена этим светом среди полного мрака окружающего.

Она еле пробралась в свою квартиру, куда вел иной подъезд, чем в квартиру Зои, но никак не могла заставить себя лечь в постель. Спустилась во двор, забрав сигареты, и пошла во тьме к одной из своих любимых деревянных скамеечек, спрятанной за деревьями. И там устроилась в одиночестве.

Тем не менее Зоя приходила в себя. Точнее, радость привела ее к хладнокровию. Только сладко хихикнула, вспомнив страстное желание Иры стать скорее взрослой; видимо, чтоб вовсю наслаждаться. И Зое стало приятно оттого, что она еще может «вовсю» наслаждаться, а Ира уже не может, и если атеисты правы и бога нет, то и никогда не сможет. И от этого она даже погладила себя по горлу, но потом неожиданно всплакнула.

Все-таки ей удалось относительное хладнокровие. Она сообразила, что единственный выход сейчас – бежать к изгнанному Володе, ибо Володя, не подводивший ее в мирских делах никогда, был связан с уголовным миром и знал человека, мясника, который за деньги мог правильно убрать следы убийства, то есть расчленив тело, уложить, корректно смыть кровь и т. д. Ира была весьма толста, жирок прямо растекался в ней сладкими струйками в предвкушении страстей, и такую целую девочку трудно было незаметно унести в мешке, а потом надежно выбросить.

Надо было не только расчленив, но и знать, где и как скрыть, скрыть навсегда. Нужен был профессионал. И Зоя знала немного этого Володиного профессионала Эдика, мясника из продовольственного магазина, который подрабатывал такой лихой службой. Тут же в ее голове созрел и иной план: о том, что сказать людям. Если удастся незаметно убрать тело, то надо

объявить черед день-два, что Ира ушла и не вернулась. К счастью, на нее везде были плохие характеристики, в школе и в милиции; известно было, что она нередко пропадает, подолгу не возвращаясь домой.

Кроме того, не все знали, что Ира – не ее родная дочь. Если бы была родная дочь, мелькнуло в уме Зои, я бы ее ни за что не убила, даже в ярости, ведь своя плоть, своя кровь; пусть бы уж наслаждалась как могла, все-таки родная дочка. Но мужа, мерзавца, она бы прогнала.

Итак, надо было действовать. Зоя выбежала из квартиры – скорей к негодяю Володе.

Одна, как черная точка, она унеслась со двора на улицу, где что-то мутно светилось впереди...

Люда же за деревьями докуривала свою сигарету. Она не заметила бегства Зои, и та не заметила ее. Но вдруг Люда почувствовала: по двору кто-то движется. Темная, огромная, еле видимая – но почему-то, как ей показалось, лопоухая фигура. То был Мефодий; она знала все странности его походки, когда он иногда шел, как бы не видя людей и предметы, всматриваясь только в их тени. Мефодий медленно, крадучись, пробирался к подъезду, где жили Вольские. Весь старый деревянный дом с его обитателями молчал. Казалось, не было жизни.

Люда вдруг встала. Тихонько, как бы стараясь не существовать внешне, она незаметно следила за Мефодием, не зная, куда он ведет. Тот ступал тоже тихо, но уверенно. Уходя, Зоя погасила свет в комнате убитой, и окно ее на втором этаже теперь чернело своим провалом, словно зазывая внутрь.

Мефодий походил под этим окном, наподобие вытянутой кошки, ставшей вдруг статуей. Люда замерла за деревом. Ей отчего-то казалось, что у этой фигуры виднеются уши, и сам Мефодий – в ее глазах – более походил на черную затвердевшую тень с сознанием в голове. Вдруг фигура подпрыгнула и какими-то непонятными Люде путями стала взбираться – устремленно и хватко – вверх к Иринуному окну. Взобралась быстро и замерла там, похожая на охотника за невидимым...

Весь дом был погружен во мрак, нигде не светился хотя бы малый огонь. Спустя время, фигура бросилась внутрь, головой вперед, точно голова была стальная.

– Сейчас кто-нибудь закричит, – подумала Люда. – Чего он ищет?

Она мгновенно вспомнила все легенды о Мефодии: о том, что он пребывал в соитии с тенями женщин, что ходил по могилам с Анастасией Петровной, гадавшей тем, у которых нет жизни. И она представила себе его тело – эротическое по-особому, словно все оно, кончая острием влажной головы, было членом, направленным в неведомое...

Внезапно зажегся свет в комнате Иры – но свет тихий, полудремотный, ночной, может быть, Мефодий зажег лампу около изголовья мертвой девочки.

Но Люда не знала о смерти Иры. Иногда только она видела – или ей это казалось – огромную тень Мефодия в окне, которая двигалась, кралась... Может быть, она – тень эта – высоко поднималась над кроватью девочки, потом наклонялась, точно общаясь с тенью уже не существующей на земле Иры.

– Что за пир там, – ни с того ни с сего подумала Люда. Зажгла папироску.

Вдруг свет в комнате Иры погас, и потом хлопнула дверь где-то в пасти подъезда. Через секунды у парадного входа оказался сам Мефодий – веселый, с чуть раскоряченными ногами, и весь как будто светящийся, белый. Его фигура теперь уже не виделась черной ступенчатой тенью и меньше пугала. Влекомая, Люда вдруг бросилась к нему. Мефодий чуть отпрыгнул от нее в сторону.

– Это я, Фодя! – дрожащим голосом произнесла Люда. – Не спится что-то. Посидим на скамейке!

Огонек ее папироски метался во тьме – так беспокойна была рука, державшая ее.

Мефодий прыгнул еще раз, но потом вдруг согласился, наклонив к ней голову, казавшуюся теперь человеческой.

– Ишь, полуношница, – пробормотал он.

И они мирно сели на скрытую за деревьями скамейку.

– Где ты был, у Иры? – вдруг прямо спросила Люда.

– Ты видела? – проговорил Мефодий.

– Да так... Случайно. Издалека. Не знаю, что и видела.

– Далеко Ира, далеко от нас...

– Как?!

– Как хошь, так и знай. Ласки, ласки она теперь не понимает, вот что, Люда, – и Мефодий притих. Глаза его смотрели ошарашенно и из другого мира, как будто сознание его было наше и в то же время не наше.

Люда вдруг почувствовала, что он не хочет ничего говорить и она не узнает, зачем он полез к Ире.

Мефодий запел. Пел он тихо, по-сельскому, и что-то человеческое было в его пении, но тут же простанывали и иные, странные, мокро-охватывающие, лягушачьи голоса. И у нее возникло желание поцеловать или хотя бы обнять его. Она тихонько протянула руку и получилось, что она обнимает его. Мефодий же по-своему дремал в этих осторожных объятиях, пел и смотрел в одну точку, додумывая свою тоску.

Так и сидели они вместе, полуобнявшись: она, человек, и он, в некотором роде другое существо.

Люда ощутила уютность и не удержалась:

– А как же Ира-то, Ира?! – спросила она по-бабьи.

– Чаво, Ира? – внезапно сказал Мефодий. – Удушили ее, вот и все. Я малость предчуял заранее.

– Что?! Да ты с ума сошел, Фодя! – вскрикнула Люда, но внутри ее что-то екнуло, и холодно-пустой ужас за Иру прошел от сердца вниз к животу. – Не может такого быть, ты что-то путаешь и мудришь.

– Возможно, я и мудрю, Люда, – мирно согласился Мефодий. – Главное, чтоб она теперь умудрилась. Для вас она, может быть, и мертвая, но для нас живая.

И Мефодий потом закрутил такое загадочное, что Люда чуть-чуть успокоилась, ибо хотела успокоиться. «Наверное, это намеки на иное», – подумала она. Но в сердце было тревожно.

Вдруг недалеко раздались торопливые шаги. Два человека, мужчина и женщина, появились во дворе с улицы, о чем-то оживленно разговаривая. Женщина даже махала руками.

– Возвращаются, – угрюмо прошептал Мефодий.

То были действительно Зоя и Володя.

– Хорошо, что ты Эдика на ноги поднял, Володенька, – льнула к нему Зоя. – А Ире так и надо, гадине, что я ее своими руками удушила. Эдик придет и припрячет труп. Тише только, никого нет?

Так, болтая и замирая, проникли они в свой дом, не заметив притаившихся Мефодия и Люду.

...Люда оцепенела от сознания смерти Иры. Мефодий превратился для нее в некое черное существо, отчужденно сидящее рядом.

– Убили, убили, сволочи, – наконец сдавленно сказала она. – Я так и знала, что этим могло кончиться, ведь она им не родная дочь, я знаю. Убили! Что ей теперь в аду-то делать?! Ведь могла бы пожить хоть малость на белом свете, понаслаждаться...

Бездонная жалость к Ире охватила ее, и вместе с тем не проходило оцепенение. Она и не заметила, как Мефодий встал и ушел.

«Родители» Иры прошли в дом. Но тут уже старушка Софья Борисовна зашевелилась в своем углу. Зоя прежде всего захотела взглянуть на труп Иры. Володя по-хозяйски открыл дверь в комнату девочки.

Ира лежала, может быть, чуть-чуть по-другому. Но Зое голое белое тело девочки казалось по-вечному неподвижным и спокойным.

Надо было по-деловому подождать Эдика, мясника. А Володя, посвистывая, вспоминал свою недавнюю «любовь» с Ирочкой. Виновато он юлил вокруг Зои.

Вдруг выползла Софья Борисовна и чуть не грохнулась. Уложили ее в кресло, отпоили. Зоя, опять начавшая злиться на Володю, рассказала ей все. Особенно старуху огорчила ссора с Володей.

– Надо сохранить семью, сохранить очаг, – прохрипела она из кресла. – Ты не должна расставаться с мужем.

И погрозила ей пальцем.

...Ранним утром, когда взошло солнце, тело девочки еще разделявал мясник Эдик.

Рядом с мясником стояла початая бутылка водки. Но Эдик работал не хмельно, а сосредоточенно: отделял и клал жирные ляжки в одну сторону, груди – в другую, а плечи и пухлые руки – в третью.

Зоя, которая заставляла себя холодно смотреть на все это, не понимала его профессиональных тайн. К тому же она считала, что ей надо действовать по принципу наоборот: чтоб не мучили сны, чувства и воспоминания, надо-де все просмотреть наяву, нудно и спокойно, все приняв, и тогда в уме ничего не останется. Она курила и смотрела на девчонку, как на гуся.

Володя же тихонько заперся с Софьей Борисовной в ее комнатухе: ведь они были любовниками... Старушка успела только опять прошамкать, что надо-де сохранить семейный очаг, но тут же сладострастно-старчески завизжала, входя в забытие...

Ее вой не был, однако, слышен из-за стука топора: Эдик как раз заканчивал труп девочки.

Голова его как будто сузилась, и кепка (он ее не снимал) – от непонятных телодвижений – словно ползла вверх, к потолку со звездами.

На полу лежала голова Иры.

– Лицо ее не отдам! – вдруг истерически закричала Зоя. Эдик выпрямился (глаз не было) и указал на Зою окровавленным топором.

– Ты что, чокнулась?

– Я не чокнулась. Я всегда была в уме. Я просто смеюсь!

И Зоя, захохотав, обежала вокруг головы, чтоб посмотреть, где лицо. Вид лица пронзил ее до какого-то антиэкстаза, и она остановилась, точно наткнулась на падшего ангела: лицо превратилось в кровавое мясное блюдо, и только губы посреди этого мертвого месива сохранились почти такими же, как при жизни: они были раскрыты в сладострастной улыбке. Это была улыбка самой себе, себе, которая умеет так наслаждаться.

Эдик захохотал.

– Сумасшедший клиент пошел, – протрубил он. – Я, правда, по пьянке ее лицо чуть-чуть изувечил. Ну, ничего, не на бал отправляется. Ты только деньги выкладывай. Не время для шуток теперь.

В дверь высунулся Володя. Одежда его была в небрежности, и сам он – хмуро-помятый.

– Закругляйтесь, – пробормотал он.

Зоя пулей вылетела из комнаты.

Скоро все было прибрано, как на лужайке теней. Зоя – для страховки – подмыла в последний раз пол. Девочка давно уже была уложена...

– Не ласков мир-то был к Ирочке, – вдруг заплакала Зоя.

– Мать съели, сама – удавилась. А хотела-то от мира всего только сладости... Дите...

– Не дури, Зойка, – угрюмо поправил Володя. – На том свете восстановится. Не нашего это ума дело...

– Чудаки вы, – на прощание сказал Эдик. – Тоже мне клиенты... Больно много задумываетесь...

XI

Смерть Иры довела Люду до состояния шока. На следующий день она была не в себе, мучаясь от противоречий внутри. Сразу же она решила – всякие внешние действия (розыск тупа, милиция, земное возмездие) здесь бесполезны (хотя она и возненавидела Зою), ибо смерть необратима, а посмертное возмездие страшнее земного.

Главное, что ее мучило сначала, – это судьба Иры, новая судьба; после гибели. «Как она хотела жить, боже, как она хотела жить, – непрерывно думала Люда, – я чувствовала это по каждому движению ее плоти, ее нежного, пухлого живота... И что с ней теперь – в полуаду, во тьме полубреда?! Чем ей помочь, как спасти? Молитвой?! Поможет ли ей, такой, молитва?»

Но Люда пыталась молиться, бросалась от медитаций к медитациям... И потом с ужасом почувствовала, что она так мучается, потому что у нее возник страх за свое второе, темное «я», ибо Ира, может быть, и была для нее персонификацией такого второго «я».

Но на другой день она почти отбросила эту мысль.

Но тем не менее судьба Иры и страх за нее продолжал болезненно тревожить Люду. Родилось упорное, почти неотразимое желание узнать, что реально произошло с душой Иры, что с ней в действительности теперь. Она продолжала также молиться за нее и посылать ей потоки искренней любви от себя, чтобы смягчить ее участь, но она чувствовала: надо точно знать, что с ней, в какой она ситуации, и тогда только можно помочь... по-настоящему... Ибо, что бы ни говорили мистики, в реальном состоянии души после смерти есть что-то не только глубоко-индивидуальное, но и абсолютно непредсказуемое...

И поэтому она хотела реально знать. Но как? Не спиритическими же забавами. Она знала – тайна состояния души после смерти сокровенна и охраняется от наглого взора смертных. Она подумала: может быть, можно как-то косвенно, без вреда для нее узнать.

Но ее поток мета-страсти прервался... явлением Иры. Оно было во сне, на четвертый день после смерти, и можно было надсмеяться и сказать самой себе, что это проекция собственных переживаний, но все-таки что-то в этом «явлении» ее поразило.

Ира «явилась» нагая и развязная. И несколько не опечаленная своей смертью.

– Что ты все обо мне молишься, дура, – сказала она Люде. – Лучше отдайся мне, чем разводить слюни...

Но на следующую ночь было другое: Иры не было, но Люда слышала ее стон, дикий, далекий и умоляющий...

Больше явления не повторились. Так или иначе, но желание Люды оставалось неизменным: идти и узнать, болезненно-напряженно узнать и охватить всю картину в своем сознании.

И она вспомнила о всех странных обитателях и посетителях дома номер восемь. Прежде всего о Мефодии и Анастасии Петровне с ее загробным домохозяйством.

«Шутки шутками, – думала она, – но этот парень и эта девочка – крепкие практики и в чем-то знатоки...»

Раньше она порой испытывала некоторую метафизическую брезгливость к ним – мол, позабыли о Духе, об Абсолюте, копаются в могильном дерьме, но теперь она почувствовала к ним некое цельное влечение. В конце концов, и раньше она поражалась им и ласкалась в их метафизической абсурдности и лихости: бог, мол, далеко, а они – рядом.

«Наседка она у нас надмогильная, – часто умилялась Люда, глядя на «Настеньку», прикорнувшую в платочке на вершине могильного холма. – И сидит она над трупами, голубушка, как кура заботливая над своими яйцами. Только что из трупики-то высиживает?! Хлопотунья!!»

Но теперь бешенство искания овладело ею. Да откуда известно, что они об Абсолюте «забыли». Да и мир, проявление Абсолюта, не менее бездонен и завлекателен, бормотала она.

Знают, знают они, Фодя и Настя, что-то очень важное, сокровенное, тайное... Пойду за ними, и душу Иры, несчастной, может быть, найду.

Обнаженно-черный, далекий путь, космос-бездна чудился ей там, куда вели дороги Мефодия и Настеньки...

Идти, идти и идти – жаростно билось в ее уме. Да, она уже многое знает о себе, да, она теперь стала приоткрывать дверь в великое, вечное собственное «я», бессмертное и необъятное, но ведь существует и этот сюрреальный, бредовый мир, который не уложить ни в какие рамки, ни в какие теории.

Может быть, Ира была только предлогом. Словно что-то звало ее, и вместе с тем было сильное, ясное желание познать судьбу родной и отвратительной Иры.

После всех этих мыслей, приведя их в некоторый стройный порядок, она решила, не откладывая ничего в долгий ящик, повидать Фодю. Выбрала момент, когда тот был во дворе: прыгал головой вниз вокруг пня и шептал.

Приманив Фодю вздохами, она присела с ним на неизменную скамеечку – на ту, где сидели они в роковую ночь.

– Ох, Федоша, Федоша, – начала Люда, – пивка не хошь? Около меня две бутылочки в травке лежат.

– Пивко на том свете пить будем, – смиренно ответил Фодя.

– Мучаюсь я Ирой, мучаюсь, вот что. Заела она меня. Будто я со своей плотью рассталась. А ведь девка была нехорошая, мерзкая.

Мефодий задумчиво пошептал и вдруг проговорил:

– От избытка бытия погибла девка, от избытка...

Люда даже вздрогнула, услышав от Мефодия такое слово: бытие. Посмотрела на него. Тот тенежел башкой.

– Кто ты, Фодя? – тихо спросила она. – Сколько в тебе душ?

Мефодий и ушами не пошевелил в ответ, но его слова точно пронзили Люду: а ведь верно черт старый говорит, подумала она, избыток бытия, избыток низшего блага погубил ее, а не какое-то «зло»... Наслаждалась бы Ирка жизнью в меру, не погибла бы, а то прямо задохнулась от себя, от плоти своей, а главного, великого, бессмертного еще не успела в себе разглядеть, прозевала, а если б познала и полюбила его так, как плоть свою полюбила, спаслась бы, и не в аду сейчас бы была, а в духе. Не успела, не смогла за одним благом увидеть более великое, пропустила его. Бедная, бедная...

Мефодий тем временем закурил: достал самокрутку (он никогда не курил иное), покашлял и затянулся...

– Непутевая все-таки девка была, – добавил он, прохрипев. – А все от того, что мать свою съела.

– Как съела?! Ты что?!

– Понимаешь, дочка, – тихо сказал Мефодий, – люди эти сварили ее мать, чтоб съесть, но мало кто знает, что один добрый человек среди них захотел накормить дите и дал ей материнскую плоть, из миски, как собачке. Она и поплакала: ведь маленькая была, несмышлениш. Непонарошку. А потом добрячок, накормив дите, вывел ее с завода и кому-то отдал...

Люда остолбенела. Все это показалось ей фантастичным, но каким-то убедительным. Однако она не знала верить ей или нет.

– Такие уж люди-то были, – шумно вздохнул Фодя и повел ушами. – Может быть, племя такое. Их всех на завод и прислали. Хотя говорят, грамотные уже были... Но дело не в этом, Люда. – Мефодий закашлялся, и голова его опустилась, точно в пустыне. – Кто мать свою съест, тот, помимо греха, как бы в обратную сторону пойдет... Против всего движения.

– Ой, бредишь ты, Фодя, про Ирку, ой, бредишь, – пробормотала Люда. – Она жить слишком хотела, потому и померла. Сам сказал.

– Да, сказал. И это точно. Етого от ее никто не отымет. Ее натура. Но может быть, все бы обошлось, если бы она – хоть и не по своей воле – свою мать не съела. Через это она совсем несчастная и невинная вышла, а проклятие висит... На безвинной – проклятие. Да, не в проклятии дело, шут с ним, с проклятием, а в оборотном повороте.

– Замудрил, дедуся, замудрил, – раздраженно ответила Люда, ужасаясь Иркиной судьбе. – Многие знают эту историю, и никто про такое не говорил. Первый раз от тебя такое слышу. Поменьше с теньями якшайся.

Она почувствовала невероятную жалость и обиду за Ирочку: если еще это на нее навалилось?! Трехнуться можно, а она вон какая здоровенькая была, аппетитная...

– Дедушка, – умоляюще обратилась она к Мефодию. Тот опять прыгал головой вниз вокруг пня, – да не говори ты такие вещи. Твои тени все напутали. Не может быть, чтоб на дите столько всего...

– Бог милостив, – пробормотал Фодя, прыгая вокруг. – Еще не такое бывает, девушка! Мир-то вон как велик! Планета! – уважительно прикрикнул он. – А дедусей меня не называй!

– Хорошо, хорошо, – почти истерически выкрикнула Люда. – Да присядь, Фодя... Неугомонный!

Фодя присел.

Задвигались где-то далеко машины, люди, слышны были крики. За забором монотонно лаяла собака.

«Первый раз слышу такой лай», – подумала Люда и сказала:

– Фодя, а что мне делать-то?! Хочу Ирке помочь!

Мефодий даже вздрогнул (по-человечески) и подпрыгнул на скамье.

– А кто ты такая будешь-то, чтоб людям с того света помогать?! Мы, девушка, кошке и то по-настоящему помочь не можем, ибо когда загадано – тогда и помрет, хоть квасом ее пои...

– Ишь, мудрый какой. А что ж ты прыгаешь тогда, Фодя, так часто? Небось неспростра гимнастику свою тайную делаешь? Скрываешь что-то! Нехорошо обманывать младших.

Помолчали. Потом Мефодий спросил:

– А почему тебя тянет ей помочь? Ты ведь иная, чем она!

– Да иная. Но все равно тянет.

– Молись. Только как надо. Верное средство, старики говорят.

– Да я боюсь, уже осуждена она. – Фодя даже рот разинул.

– Что же ты, супротив самого осуждения хочешь ей помочь? По своей воле?!

– Ага.

Мефодий прыгнул уже по-нехорошему.

– Ну и девки ноне пошли, – покачал он потом головой, подсев к ней. – Не пойму... Мы ведь, девушка, люди простые, и против бога там или черта – ни-ни. А ты вонна что задумала – супротив мирового порядка. Ишь, чаво захотела.

– Думаю я, Фодя, что, кроме мирового порядка, есть все-таки, как бы тебе сказать... какой-то ход вне всего, пусть и ни на что не похожий... Как бы тебе объяснить. Скажу уж по-моему, по-научному, как ты говоришь... В любой истинной духовной Традиции есть место для того, что выходит из Традиции, не вмещается в нее, и то же можно сказать о Космосе, о мировом порядке. Не ладно говорю?

Фодя неопределенно качнул головой.

– Повтори.

– Лазейку, короче говоря, ищу, дыру в Космосе.

– Ого, – Фодя взвился, вдруг на глазах воссияв, словно проскочил за один миг несколько перевоплощений. – Да ежели ты иль какой-нибудь еще человек такую дыру найдет, неужели ты на такую дурь, как Ирка, или на еще какое существо будешь ее тратить?! Окстись! Да за такое... за такое... Вот что, Людок, – вдруг смягчился он, обомлев. – Забудь об Ирке, а? Не

твое дело. Мировой порядок не черт, потрепет ее как надо – а потом отпустит. Глядишь, девка когда-нибудь и ангелом станет. А о дыре забудь. Не под силу человекам это... Давай-ка лучше хряпнем кваску, и я тебе о Настеньке расскажу. Она ведь упокойникам не помогает против правила, не меняет их нутро – разве это можно! – она их жалеет, и... тссс... тссс...

Эпилог

После такого разговора с Фодей негa какая-то бесконечная охватила Люду. И в неге этой забылась девочка Ира, ушедшая в мир своей матери, съеденной живьем. Уже не ломала она голову о загробной судьбе Ирочки. Как рукой сняло. Но история эта не прошла даром для ее души.

– Уеду я от вас, Фодя, – говорила она старичку, когда встретила его опять как-то вечером во дворе. – Не по мне эта ваша Настенька с ее загробной стряпней, да и тени я не люблю. Эка невидаль, тень! Сейчас они и по земле ходят в телесном виде. Хотя я и люблю их по-своему...

– Не соображаешь ты ничего о тенях, – сурово оборвал ее Фодя. – Тень она, ангел мой, не проста, по тени многое понять можно.

Но Фодя не прыгнул, однако же, никуда.

– Да ну! Я из всех вас только Галю люблю по-настоящему.

И Люда пошла к Гале.

Галюша встретила ее как родную.

За самоваром поговорили о тайнах.

– Я, Люда, тоже ничего в тенях не понимаю. Может, и вправду, как ты говоришь, многие люди в этом веке стали как тени того высшего внутреннего человека. Ну и что ж, Людка, с тенями тоже можно чай пить, – вздохнула Галюша, откусив кусок слоеного пирога. – А может, и Фодя замысловатый тоже прав, имея в виду свое, другое. Ну их, эти загробные тайны. По мне, так и у нас тутa тоже тайн хватает. Ты погляди, какая красота и бездна в деревне, в русских полях и лесах. Кто это разгадал?! Кто это понял?! Никакому чародею это не под силу. Тут глаз нужен ангельский или еще там какой, повыше...

Люда вздохнула.

– Права ты, права... А если природа такая, то какова наша душа?... Знаешь, Галя, уеду я от ваших загробных людей, от Насти и Фоди, сменяю квартиру, но с тобой буду навечно.

В это время кто-то запел во дворе. Охваченная бытием, Люда подошла к окну.

На лужайке, собравшись в кружок, пели шесть обитателей дома номер восемь по Переходному переулку.

Пели что-то совсем древнее, языческое, но о Небесах.

И почему-то все решили не умирать...

Так странно и быстро разрешился для Люды поиск души погибшей Иры. Понесло ее совсем в другую сторону. Ошалело уже звучал для нее тихий голос Мефодия. Даже вечно пьяный инвалид Терентий (который упорно не спивался до конца) не уводил мысль в тишину. Разорвалось что-то в душе ее, и потянуло Люду вперед, на просторы, необыкновенные, бесконечные, российские. Вместе со всеобъемлющей Галюшей занесло ее вскоре в древний город Боровск, в котором каждая травка, каждый уголок говорили о дальних тайнах, запрятанных в пространстве. А между домами стояли православные церкви, как озера Вечности.

В одной такой древне-уютной комнатке со старичком, чуть ли не улетающим в небеса, беседовали они о непостижимом. И глаза деток, выглядывающих из углов, были полны решимости и ранней непонятной мудрости...

«С Переходного переулка уеду, – думала Люда – И найду Бога, Который во мне и Который есть мое истинное «Я». Живет в Москве Учитель, он поможет. Но главный Учитель во мне самой. И Он раскроется, я знаю. И войду в жизнь высшую и вечную. И забуду о себе как о человеке и мир забуду. И рухнет преграда между мной и Богом, и будем мы Одно. Так говорит великая Веданта: «Я есть То». Все забуду, и ум человеческий исчезнет во мне, только одну Россию не забуду... Но почему одну Россию не забуду?! – вдруг спросила она себя, похолодев, глядя в окно на бесконечные синие дали, леса и почти невидимую ауру. – Не знаю почему.

Что за Россией кроется?! Но чувствую: «это» не забуду даже Там, в Вечности. Или... неужели придется выбирать?! Нет, нет, нет!!! Все должно исчезнуть во мне, кроме Бога, но не Россия. Только не Россия...

А между тем в Переходном переулке и около него творилось черт знает что. Неожиданно загорелось то самое кладбище около дома номер восемь, над которым шефствовала сама Анастасия Петровна. Пожар охватил кусты, деревья, могилы и взвивался вверх к небесам. Сторож Пантелеич даже уверял, что видел гробы, какой-то силой вышвырнутые из-под земли и объятые адским синим пламенем. Словно не только то был пожар, но одновременно какое-то непонятное уму землетрясение.

– Пожаром их всех, пожаром! Нету смерти, нету, и все! – кричал один потрепанный, дикий человек, прогуливаясь перед воротами кладбища.

Саму же Настеньку нигде не могли разыскать, как ни старался ее ночной приятель сторож Пантелеич. Пожар с горем пополам стали тушить государственные машины. Но на тушение огонь этот был плох. С хрустом, как все равно кости грешников, тресали деревья. Огонь еле поддавался...

А под вечер обыватели увидели наконец Настеньку: с удалством во взгляде (взгляд этот, правда, обыватели не различили), верхом на местной ведьме (а та – на помеле) летала Настенька над своим хозяйством – кладбищем.

Была ведьма под ней нечеловеческим голосом, космы ее разметались по воздуху – но сделать ничего не могла.

А к утру уже, к раннему, видели ведьму эту с Анастасией Петровной на спине летящей над зданием Института фундаментальных исследований. Парила потом Настенька над этим институтом, но глаза были устремлены на далекое кладбище, откуда еще виден был дымок угасающего пожара, и в дыму, видимо, поднимались из гробов души трупов. Ибо сами души человеческие, в их сути, уже были далеко-далеко, и ничего их не могло тронуть – разве что Настенька чуть-чуть прикасалась к ним в свое время, когда сидела на своем бугре.

Кто-то даже видел шляпу, стремительно вылетевшую из раскрытой могилы.

– Ежели покойники барахлом будут швыряться, то какой же порядок тогда в мире будет, – упорствовал, разводя руками, пьяный инвалид Терентий.

Ветер уже всю гулял по этому району...

...Однако вскоре после таких событий обыватели с Переходного переулка вдруг со всем смирились. Если б даже наступил конец всякой власти вообще или самого мира тем более – ничуть не удивились бы они, утихомиранные.

Даже ведьма та местная, на которой летала Настенька Петровна, и та появилась потом на людях пристыженная. И с недоумения обернулась – что делала и раньше – в кошку, но на этот раз без возвращения. Соседки жалостливые не раз кормили эту кошечку молочком, приговаривая: «Кажная тварь исть хочет, кажная, тем более обороченная». И кошка, тоже усмирная, помахивала хвостом в знак согласия.

А потерявшие всякое интуитивное расположение людей супруги Вольские совсем растерялись. Софья Борисовна, та просто померла – быстро и неожиданно для самой себя, когда отдыхала после соития в пышном вольтеровском кресле. Володя прибежал (а почему прибежал – сам не имел понятия), смотрит: огромный женский труп глядит на него выпученными стальными глазами. Он потряс – ни звука. Хотел поцеловать – да отпрыгнул.

Похоронили старуху почти скрыто – на погоревшем кладбище. Спустили в чью-то опустевшую могилу...

Володя после этого совсем спился – до не различения женского пола от мужского. Зоя Вольская – тайная убийца Ирочки – от него сбежала, укрылась у сестры и не знала, что ей делать: то ли спиться, то ли покаяться, то ли спиться и покаяться одновременно.

Люди сторонились их, чувствуя нехорошее...

Зато Эдик-мясник, расчленивший труп Ирочки, быстро почему-то пошел в гору. Карьеру серьезную осуществил (в теневой экономике). Верно, долго-долго ее подготавливал... Говорил он теперь почти лишь по-английски, купил шляпу и дорогой автомобиль иностранной марки. Только по ночам слышался иногда случайным прохожим его хохот (жил он на первом этаже при открытой форточке) – но не зловещий хохот, а здоровый, рациональный.

Люда сменялась довольно быстро – и тут же уехала в Боровск, к Гале. Без Галиного же пения – невероятных, лесных песен почти доисторических времен – чего-то стало совсем не хватать в доме номер восемь по Переходному переулку. Сверкал только иногда где-то в темноте глаз Анастасьи Петровны – но саму старушку никто не видел, словно она ушла на тот свет, а глаз свой оставила на этом. И пугались поэтому обыватели ее взгляда: «не наш, не наш взгляд то», – шептались они потом по углам.

Лишь у «обороченной» дворовой кошки (бывшей ведьмы) шерсть вставала дыбом при виде сверкающего глаза Анастасьи Петровны...

Кладбище стали уныло отстраивать. Навезли цементу, кирпичей, плит – показались и деловые рабочие. Кто-то уже видел на бугорке тень Настеньки. И опять кувыркались в траве, ловя свое бытие, мудрые обитатели дома номер восемь.

Но страннее всего произошло с Мефодием. Обыватели даже решили, что он совсем сошел с ума, потому что вдруг позабыл про тени.

– Теней нету, теней! – кричал он истошным голосом, кувыркаясь на своей лужайке. – Тени другие стали! Не могу-у-у-у!

И его вой «у-у-у» раздавался во всех уголках дома.

– Весь мир невидимый переменялся, Терентий! – покраснев от напряжения, орал он лежащему на земле инвалиду. – Встань, наконец! Что же будет, что же будет?! У-у-у-у! У-у-у-у!

Но вой его оставался одиноким.

Мир и хохот

Часть первая

Глава 1

Сначала Алле снилась тьма. Потом она услышала во сне свой голос, точнее крик: что будет?! какими станут люди?!

Она проснулась и ощутила около себя странную пустоту. Мужа в кровати не было. «А кажется, он как будто говорил, что выйдет рано утром за молоком», – подумала она.

Комната казалась опустевшей без ее Стасика. Но она сладко потянулась. Заглянула в окно, в спокойное до ужаса небо. «Туда идти далеко, там нас нет и не будет», – мелькнуло в ее уме. И блаженство собственного тела захватило ее. Глаза светились, и было ей двадцать девять лет от роду. Утробное счастье растекалось по всем клеточкам ее тела, по самым уголкам, нежным и мягким. Ей захотелось вдруг завывать от радости самобытия. И она, не стесняясь, завывала.

Но в этом вое были оттенки ужаса. Ужас от того, что блаженство тела – временно и смерть где-то здесь, как всегда. И ее торжествующий крик обрывался порой в бездну и в страх. И тайная угроза смерти превращала блаженство в огненное существование тела, в безумие. Все рушилось, и все было на месте.

Вспомнив о разуме, она внезапно затихла. Вой перешел в мертвую тишину.

Алла чувствовала, что ее дух помещен в оболочку, называемую плотью, но там тепло и уютно, и в этой оболочке – ее защита от незримых демонов, блуждающих в невидимом. Алла погладила свою ножку. В конце концов, она счастлива, оттого что жива. Чего еще надо? Нет, надо много, много. Чего?

Жизни – огромной, все заполняющей, полубессмертной. «Пока в небо не надо», – думала она.

Разум заставил ее встать. «Утро, черт его побери! – подумалось ей. – Где же Стасик, куда он пропал? Наверное, ищет вкусенькое».

Накинув халат, Алла подошла к зеркалу – огромному, верному, висящему в гостиной. Квартира была не без антиквариата, в шестнадцатизэтажном доме в переулке за Зубовским бульваром около Садового кольца.

Зеркало светилось, настолько оно являлось чистым и вбирающим в себя.

Алла долго, долго всматривалась. И внезапно вздрогнула. В сиянии своих глаз она увидела мертвую точку. Две мертвые точки в каждом. Она стала пристально вглядываться в них. Алла часто смотрела на себя в зеркало, но никогда безумие не овладевало ею, даже когда она глядела внутрь себя подолгу, медленно и неподвижно, грезя о бессмертии. Но сейчас что-то екнуло в родимом сердце, слышать биение которого она тоже любила. Нет, не сумасшествие, а гораздо хуже, словно оборвалось привычное бытие. Хотя подумаешь: всего лишь две мертвые точки. Но она не могла оторваться от своих глаз. Вдруг точки исчезли. И тут же она взвизгнула от ужаса: ее волосы стали казаться ей золотистыми, шевелящимися змеями. Мгновенно видение (или прозрение, как угодно) исчезло, но в глазах опять возникли две мертво-черные точки. И тогда в зеркале, где-то в углу, появилось отражение Станислава, ее мужа. Она обернулась: Стасик! – и задрожала всем своим блаженным телом.

Никакого Стасика в комнате не было. Не было даже половины Стасика. «Бред!»

Она опять взглянула в зеркало, и опять в нем явственно плыло отражение мужа. «Я погибла», – мелькнуло в уме. Оглянулась и заметалась по квартире: где Стасик, где прячется, где? В конце концов, ему около сорока – это не возраст для игры в прятки.

Но Стасика нигде не оказалось. Наконец она наткнулась взглядом на лист бумаги на письменном столе. Там было крупно написано: «Меня не ищи. Живи себе спокойно. И не заглядывайся в зеркало. Был твой Стас».

Алла ошарашилась. Подумала: ее окружение слегка странное. Одних необычных книг сколько в шкафах, но такого она не ожидала! Не только ее друзья, но почти все люди чуть-чуть странноватые, но Стасик...

Растерянно она снова взглянула в зеркало и отпрянула, закричав, словно истерика вошла во все ее тело: в зеркале она увидела лохматое, небритое лицо Стасика, мужа. Он улыбался гниlostным, несвойственным ему образом. Впрочем, глаза уже были почти не его.

Алла бросилась к телефону, и одновременно ей показалось, что прекрасные волосы ее, словно превратившиеся в змей, зашевелились на голове, точно желая увести ее в ад. «И это мои волосы!» – завопила она в уме. Дрожащими изнеженными пальчиками набрала номер сестры.

– Ксюша, приходи ко мне! срочно! срочно! Жду тебя у подъезда! – ломано выговорила Алла.

И потусторонней пулей вылетела из квартиры, накинув на себя что попало, благо стояло лето.

Ксюша, Ксения, родная сестра, жила рядом, в десяти минутах бегом, и, перепуганная, пухленькая, она скоро явилась.

Алла бросилась ей на шею, надеясь на родство.

– Ксюшка, спаси, я сошла с ума, или, наоборот, мир спятил! – только и произнесла она.

– Чаю надо выпить, чаю, хорошего, крепкого, и все пройдет! – пробормотала, полуобомлев, Ксюшенька. Потом опомнилась:

– Скажи, что? что случилось? Кто? Что?

– Стасик ушел!

– Как? Ни с того ни с сего? Он спятил?

– Хуже того! В зеркале он остался. Если не боишься, пойдем в квартиру.

Ксюшенька взглянула ей честно в глаза:

– Ты же знаешь, я многого боюсь! – воскликнула она, похолодев.

– Но все-таки зайдем. Вдвоем не страшно. И тут же позвоним кому-нибудь из наших...

– Звонить надо Нил Палычу Кроткову. Без него в замогилице не обойдешься, – брякнула Ксюша, заходя в переднюю.

И тут же раздался телефонный звонок. Странно-скрипучий, неживой, но полный знания голос прокаркал, что морг пока пустует.

Алла бросила трубку и, забыв о смерти, ринулась в глубь квартиры.

Ксюша, побродив по коридору, спохватилась и позвонила Нил Палычу Кроткову.

Алла, побледнев, вышла из гостиной и произнесла:

– Вещички-то уже не так стоят... Слоник на столе не туда повернулся, я точно помню – он в дверь смотрел, а теперь в окно. Часы, часы сдвинуты! – ее голос дрожал. – Оно не так, как было до того.

– Что оно?! Время, время-то сколько? – запричитала Ксюша.

– Какое время? Времени нет! – вскрикнула Алла. – Все приостановлено!

– Да не все, что ты бредишь? Давай-ка я взгляну в зеркало.

Ксюша подошла, чтобы посмотреть на себя, таинственно любимую, и тоненько взвыла, отбежав. Она увидела себя – да, да, это была она, Ксюша внутренне почувствовала это, – и на нее глядел толстый мальчик на игрушечном коне, с сумасшедше-изнеженным лицом.

– Смерть моя! – утробно отшатнулась Ксюша на диван.

Алла подскочила, стали разбираться – что, как, почему... и расплакались.

– Разум покидает мир, Ксения, – медленно проговорила Алла и поцеловала сестру в щечку.

– Кошку, кошку сюда! – пробормотала в ответ Ксения, – кошки все поймут.

В это время в дверь осторожно постучали – Нил Палыч Кротков никогда не звонил в квартиру, а всегда стучал.

– На мой стук и мертвые откликаются, – шамкая, говорил этот прозорливый, по слухам, старичок.

И он вошел: болотный какой-то, потертый, в шляпе, с седой копной волос и голубыми остановившимися глазками, какие были у него, наверное, еще до рождения на свет.

– Нилушка, спаси! – бросилась к нему Ксюша. И сестры наперебой, Ксюша – подвизгивая и подвывая, Алла – вдруг холодно и интеллектуально, стали раскрывать происшедшее старичку.

Нил Палыч помолчал, только чмокнул и опустошенно поглядел на сестер, как будто их не было. И осторожно стал осматривать квартиру; сестры же смирно сидели на диване, как будто их прихлопнули неземным умом.

– Ох, горе, горе! – только приговаривала Ксюша машинально.

Откуда-то из углов доносился голос Нил Палыча:

– Все понятно... Все на месте... Еще Парацельс говорил...

Но особенно Нил Палыч упирал на то, что ему все понятно.

Подошел к зеркалу, заглянул, крикнул, но не упал, устоял все-таки на ногах. Пробормотал только по-черному:

– Ничего, ничего... Это все я предвидел... Я так и думал... Альберт Великий в этих случаях...

И вышел, шаркая ножками, куда-то в сторону.

Сестры, встряхнувшись, словно от высшей пыли, поползли за ним, но тут Алла весело-безумно вскрикнула:

– Тень, тень его! Тень Стасика моего!

И Ксюша увидела на стене за спиной Нил Палыча огромную тень зятя своего, мужа сестры.

Но самого Станислава Семеновича, увы, нигде не было, да и тень кралась непомерно огромная, словно отделившаяся от своего создателя и источника. И, сама по себе, она ползла по стене за Нил Палычем, точно готовясь обнять его – широко и навсегда.

На крик Нил Палыч обернулся, и дорожденные, голубые глаза, будто выскочившие из самих себя, говорили, что дело плохо.

– Где Стасик-то, где сам Стасик? – заметалась Алла, бегая из комнаты в комнату и заглядывая даже под кровать.

Ксюша же опустилась перед тенью на колени, словно каясь ей.

– Прости нас, Стася, прости, – вырвалось из ее уст.

И тут Нил Палыч подпрыгнул. В жизни он никогда не прыгал, а тут подпрыгнул.

– Вот этого я не ожидал! Все теперь непонятно! Какой же я дурак! – заголосил он резвым, не стариковским, а даже полубабьим голосом. – Все сместилось!.. Боже мой! Боже мой! Как же я не понял непонятное! Боже мой!..

И он истерично заторопился к выходу.

– Какие тут тайные науки! Ни при чем тайна!.. Все ушло, все перевернулось!! Это же ясно было видно в зеркале!.. Ну и ну!

И, схватив себя за ухо, Нил Палыч выскочил из квартиры.

Сестры обалдели. Вдруг наступила тишина. И они тоже замолкли.

Внезапно сестры почувствовали, что тишина благосклонна. Они осторожно стали ходить по квартире; все затихло, как после катастрофы. Заглянули в зеркало: там на удивление все нормально, словно мир опять получил разрешение временно быть.

Сестры облегченно разрыдались.

– Я поняла, с каждым новым рождением я буду все изнеженней и изнеженней, – сказала наконец Ксения. – Пока не растекусь по вселенной от нежности.

– Что ты говоришь, золотко, – сказала Алла, она была чуть постарше сестры и жалела ее часто ни с того ни с сего. – От все большей и большей изнеженности ты будешь, наоборот, сосредоточиваться, станешь бесконечным и нежным центром... И меня втянешь в свое нутро, – улыбнулась Алла своим мыслям.

– Так что же нам делать? – пискнула Ксения.

– Ничего. Продолжать жить. Разум уходит из мира. Ну и бог с ним!

Алла встала.

Ужас необъяснимого ушел. Но где Стасик?! Что с ним?! Что?! Одна рана за другой...

Глава 2

Степан Милый (такова уж была его фамилия) лежал на траве. Вокруг на расстоянии тысячи километров суеились люди, летали взад и вперед самолеты, не своим голосом кричали убитые, а он все лежал и лежал, глядя на верхушки деревьев. Давно в небо не смотрел.

Если и видел он что-нибудь в небе, то только одних пауков. Таково было его видение. Ни жить, ни умирать не хотелось. Хотелось другого, невиданного.

Впрочем, желание это было настолько смиренным, что даже не походило на желание.

И тогда Степанушка запел. И петь как раз он любил в далекое небо, как будто там были – по ту сторону синевы и пауков – невидимые, но почтительные слушатели.

«Не надо так много мраку», – всегда думалось ему, когда он пел.

Пел он не песни, а несуразно дикое завывание, которое он поэтизировал.

Наконец привстал.

«Как разрослась Москва, однако», – мелькнула мысль.

Мысли Степанушка не любил. Да и Москва порой казалась ему до сих пор огромной, но загадочной деревней всего мира.

И все-таки посмотрел на людей.

«Ну куда так торопятся, куда бегут? От смерти, что ли, прячутся, – зевнув, подумал он. – От смерти лучше всего спрятаться сиднем».

И угрюмо-весело пошел вперед во двор, приютившийся между полунебоскребами.

Под кустами, за деревянным столом, точно укрывшись от небосклона, пили пиво ребята лет двадцати.

Степан подошел. Был он совершенно неопределенного возраста, кто дал бы ему сорок, кто тридцать, а кто и пятьдесят.

Ребята, увидев его, замерли, как во сне, сами не зная почему. Один из них квакнул. А Степан всего лишь подошел и поцеловал одного из них, большого, в нос, выпил его пиво и пошел себе дальше рассматривать пауков в небесах.

Но теперь он уже не пел.

Ребята переглянулись.

А Степан Милый быстренько себе юркнул в подземную пасть метро.

– Говорят, пол-Москвы под землей прячется от грехов и бед, – зевнув, слегка толкнул толстую бабу. – Под землей хорошо! Я люблю метро, – гаркнул он в ухо проходящей даме.

...В вагоне было удобно, душевно тепло от множества народу. Реяло все-таки и что-то нездешнее. Милому тут же уступили место. Он сел и решил просто покататься взад и впе-

ред, благо линия метро была длинная – километров сорок-пятьдесят поди. Он много лет так и катался бы туда и обратно, если бы разрешили. Больше всего Милый не любил что-то совершать.

А вот на лица до боли родных людей вокруг, в вагонах, – это хлебом не корми, только дай ему их созерцать. Степан вспомнил тут же свою небывалую девочку-вещунью, лет тринадцати, с которой он обожал гулять по дворам или ездить в метро.

«Маленькая, а по глазам все узнавала про каждого. Открывались ей глаза.

И порой такое расскажет мне про них! Я после этого дня три отдыхал, никого не видя, – тихо вспоминал Степан в метро. – Такая уж дочка у меня была, суть вскрывала, как будто голову с человека срезала...»

Сам же Степан тоже кое-что понимал в людях. Но когда он сосредоточивался в метро на них, то лицо вдруг исчезало, и суть тоже, а вместо этого виделась ему глубокая темная яма, наполненная, однако, смыслом, далеким от человеков.

Так получилось и сейчас. Пространство, яма, бездна все углублялась и углублялась, втягивая в себя глаза и лицо созерцаемого, не оставляя ничего желанного для поцелуя.

Но Степан мог возвратить. И когда опять для его квазибессмысленного взора выплывали какие-нибудь черты лица, то порой он не отказывал себе в желании поманить пальцем это лицо.

Так вышло и сейчас – с одинокой девушкой, бедной и похожей на живую ромашку. Только щечки красненькие. И Степан поманил, и лицо девушки явственно выплыло из бездны. «Живая», – с умилением подумал Милый. Девушка улыбнулась ему и опять пропала.

«Слишком далек я сегодня, потому все и пропадает, – размышлял Степан. – Эх, горемычные все, горемычные. Но до чего же хороши, когда пусть из могилы, но живые! Живым быть неплохо, но для меня немного скучновато. С мертвыми веселей мне, но тоже не то... Не туда я попал, наверное...»

На мгновение Степану показалось, что весь мир умер, но мгновенно воскрес как ни в чем не бывало. И таким образом мигал еще некоторое время – сколько, трудно было ему сказать. Степан не считал время за реальность и не носил часы. А мир все мигал и мигал: то умер, то воскрес.

– Хорошо мне в этом чертовом теле человечьем, – облизнулся Степан. – Мигай себе, мигай, – обратился он к миру. – Домигаешься...

Девушка-ромашка вдруг дернула его за пиджак. Глаза ее были чисты перед Богом.

– Дяденька, который час? – спросила она.

И тогда Милый захохотал. Еле сдерживаясь, трясаясь всем телом, наклонился к большому уху этой маленькой девочки.

– Ты следишь за временем, дочка? – давась, спросил он. – Живи так, как будто ты на том свете, тогда и времени никакого не надо будет...

Девушка опять улыбнулась и ответила, что все поняла.

– Ишь какая ты прыткая. – Степану захотелось даже обнять девушку. – Все даже Бог не знает. А тебе сколько лет?

– Шестнадцать.

Степан с грустью посмотрел на нее:

– А я вижу, что тебе уже исполнилось восемьдесят.

Девушка расширила глаза, но в это время раздался в вагоне не то крик, не то полувоплъ:

– Подайте, граждане, герою всех войн на пропитание!!!

За толпой людей было непонятно, кто это, но вокруг, как это ни странно, подавали.

Поезд остановился, и Степан выскочил и поехал в обратную сторону. В обратной стороне он обо всем забыл и не видел ничего, кроме своего сознания.

Тем не менее ему показалось, что все улыбаются ему. И он приветствовал всех – но где-то там, где они были еще не рожденные, в белой тьме бездны...

«Хорошо бы и мне там сидеть» – время от времени мелькало в уходящем уме.

Какой-то старичок помахал ему шляпой. И Милый опять выскочил на поверхность, не думая о том, чтобы ехать куда-нибудь. Сел на скамейку и застыл. На душе было как в яме.

«Загадочный я все-таки», – усмехнулся в лицо деревцам.

Часа через полтора подумал: «Куда же идтить?»

Вокруг толпами полубежали люди, кто с работы, кто на работу... «А кто и на луну, – подумалось Степану. – Все бегут и бегут. Помогите им, Господи! Но и наших среди них – много. Копни почти каждого – в глубине он наш...»

И тут же вспомнил: «Конечно, к Ксюше надо подъехать! У нее просторно – в душе прежде всего! Как это я о ней вдруг забыл!»

И небесно-болотные глаза его замутились.

«Ксюша – это хорошо. Она весь мир грудями понимает, не то что я. Пойду поскачу туда».

И в ушах Степушки зазвучало что-то раздольное.

«Но туда надо еще добраться», – вспомнилось ему.

И тут же понесся к непонятно-родной Ксюше.

Вбежал в автобус, удивился, что люди молчат там, не беседуют друг с другом («Устали, наверное, бедные», – случайно подумалось ему). Мимо автобуса тут и там пытели какие-то строительства, дым шел в небо («Неугомонные», – опять подумал он).

И вдруг не удержался, увидев лужайку между домами. Оттолкнув погруженную в свои расчеты старушку, на ходу выскочил из автобуса.

А на лужайке как-то незабываемо стал кататься по траве. Степан любил траву, может быть, еще больше, чем ее любят коровы. И не прочь был вздохнуть могучей своей грудью, когда на глаза попадалась трава. Но превыше этого – Степан Милый любил кататься по траве, эдаким непостижимым порядку шаром, пузырем, перекасти-полем. Мысли тогда в голове появлялись, хоть в обычном виде он не терпел мысль.

На сей раз окружающие, видимо, были так забиты жизнью или просто заняты, что никто не обратил на него внимания. Даже милиционер, сидевший на скамейке, заснул при нем, при катающемся Степане. Одна только старушка, бегущая от самой себя, шамкнула полунесуществующим ртом:

– Ишь, спортсмен!

Накатавшись кубарем, Милый встал. Огляделся, посмотрел в небо. На этот раз Белая Бездна – к небу она имела косвенное отношение – охватила его до ног. Сознание его слилось с этой Бездной, и в Ней ему было хорошо, хотя и страшновато немного. Потому что за Пустотой скрывалось такое, – а «что», он и не знал, но ему всегда в таких видениях или в случаях хотелось кричать, чтобы криком заглушить Первоначало.

И Милый хотел было и сейчас – крик дикой волной поднимался из нутра, – но сознание его, слившееся с Бездной, утихомирило все. Он взглянул в пространство, увидел, что никого и ничего нет, махнул рукой и через минуту впал в обычное, человеческое состояние. Сразу появились дома, окна, самолеты, автомобили и прочая чепуха.

Милому захотелось пивка. Его тянуло на пивко после Неопикуемого.

Подожел к ларьку, бутылка как-то сама влезла в горло, он и не заметил, что слегка подерживает ее двумя пальцами. Продавщица, увидев его, охнула.

«Далеко пойдет», – подумал, глядя на нее, охающую, Милый.

Попив вволю, побежал к автобусу, к Ксюше. Он любил после встречи с Неопикуемым устремиться к Ксюше. «Это потому, что она Россию любит», – решал он про нее.

В автобусе было тихо, словно там собрались гномы. Народа почти не было.

А ведь Милый любил людей, да и гномов жаловал.

В окне было скучно, и Милому вдруг ни с того ни с сего вспомнился давний эпизод из его тогда еще юной жизни. Он вспомнил, как на опушке лесочка пригреб знакомую девку на пне.

Девке нравилось, она визжала по-кошачьи, а Степан ее утешал. Да ему и самому было тепло во всем теле. Но что в этом особенного, если даже на пне, – дело таилось в другом. Степан точно знал, что все это произошло примерно пятьдесят лет назад, когда его еще на свете не было. Например, помнил, что Сталин был еще жив тогда и еще газета в кармане была о вожде. Нелепица получается, несуразица. Ничего не сходится. Но чем несуразней, чем больше ничего никогда не сходилось во веки веков – тем более Степан знал, что это и есть правда. Потому он и не сомневался, что так было: случилось его соитие на пне с незнакомой девкой, когда его самого еще на свете не было.

«Тут все ясно», – улыбался сам себе Степан, когда уже подъезжал к знакомому полунескребу, где жила Ксюша.

Бодренко соскочил с сиденья – не пень это был на сей раз, не пень! А впрочем, почему бы в автобусах не сидеть на пнях, как в лесу? Удовольствия больше. Подходя к подъезду, Степан тихонько запел. В кармане его потрепанного старого пиджака лежала бумага, в которой черным по белому было написано, что он, Степан Милый, представляет тайную ценность. Коротко и без всяких объяснений – почему. Стояла печать, даже мощный герб – но никому не известного государства. Даты не было. Степан и сам не знал, как эта бумага к нему попала. Но очень дорожил ею, пугая этим письмом пьяных милиционеров.

Глава 3

Алла решила жить у сестры, а жуткую свою квартиру запереть. У Стасика, конечно, были все ключи, даже самый тайный, но нужны ли они были ему теперь?

Прошло уже три дня, однако его как ветром сдувало. В милиции особого внимания не обратили: мол, много вас. Кого много, было непонятно. Из этой тупой реакции милиционеров не вывели даже деньги, предложенные за поимку Стасика.

– Если вы говорите, что его как ветром сдуло, то у ветра и спросите, – сурово оборвал один раз Аллу задумчивый служивый.

Прошла еще неделя как в кошмарном сне для брата Стасика и для Аллы, но результатом стал нуль.

Алла постепенно приходила в себя, но в своей квартире появлялась только иногда, вместе с Ксюшей, однако никаких явлений в доме и в зеркале уже не происходило. Одна мертвая тишина. Нервную Аллу такая гнетущая, загадочная тишина стала пугать не меньше, чем прежние «феномены» или выпадывания исчезнувшего мужа. «Точно он с того света вываливался, – скулила про себя Ксюша, – через дыру».

Толя – лихой муж Ксюши – относился к загадочным состояниям жены и ее сестры с терпимостью. Не возражал он и против необычайных книг по метафизике, которые приносила Алла. Толя вообще считал этот мир бредом, но бредовой обыденной, так называемой нормальной жизни он не знал ничего. «Все бред, но лучше уж метафизика, чем ординарщина, глобализация и супермаркет», – говаривал он.

Ксюшу свою он по-дикому любил и все-таки выделял ее из общего бреда. Да и Аллу жаловал.

– Сестра ведь, а не кто-нибудь, – шумел Толя, – квартира у нас большая, пусть живет, зачем я буду тебе, Ксюша, перечить. А Стасик-то, я замечал, всегда был со странностями – потому и сдуло.

Ксюша возражала:

– Какие у него странности?! Человек как человек. Ты только Алле не болтай лишнего. Но Алла уже была где-то спокойна.

Сидела она с Ксюшей раз на кухне – двадцать дней уже прошло с момента пропажи Стасика. Толя ушел на работу: работа у него была совсем нетипичная и действительно бредовая.

– Знаешь, Ксения, – разливая индийский чай, сказала Алла, – со Стасиком у меня все-таки были не те отношения. Что-то было не то, а что не то, до сих пор не пойму.

– Но вы же жили мирно, – пухло возразила Ксюша.

– Это и пугало меня больше всего, ненормально ведь это, – тихо ответила Алла. – Стасик был какой-то не в меру смирный.

– А теперь вот что выкинул, – не удержалась Ксюша. – И записка-то, по существу, наглая. «Меня не ищи»... Тоже мне...

– Именно. Я тогда особо внимания не обращала. Но теперь, думая о происшедшем... Словосочетания необычные, бормотание во сне... Смещение ума в нем какое-то было...

– Вот он и сместился.

– Незаметное почти... Помню еще... Да, но все равно размотать такой клубок пока невозможно. Помощь нужна.

Но помощи не было. Нил Палыч сам исчез. Сестры звонили ему, звонили, в дверь стучали – ничего, кроме напряженной тишины, даже покоя.

– Бог с ним, со Стасиком, раз он так со мной поступил, – удобней располагаясь на диване (даже в кухне у Ксюши стоял диван), сказала Алла. – Найду другого... Хотя, конечно, жаль... Страшно иное: какими мы себя в зеркале видели, ужас, что это – тайная суть наша, душа до рождения, или после смерти, или же в конце времен...

– Вот это действительно страшно, – и Ксюша даже инстинктивно положила свою нежную руку себе на животик. – Кто мы?.. А ты видела глазки Нил Палыча, когда он на себя в зеркальце-то глянул... Что там отразилось – не видела. Но личико его словно на тот свет полезло. Хорош был... Наверное, потому и исчез. От самого себя сбежал.

– Он специалист. Как-то при мне обмолвился, что у него старинный манускрипт есть, на немецком, о связи зеркала с невидимым миром...

– Все равно, Алка, я себя не боюсь, какой бы я ни стану, даже в конце времен, после всяких рождений и потусторонних пертурбаций... Пусть мы будем с тобой чудовищами... Все одно... Как можно себя, родную, бояться? Что еще может быть ближе к себе?

– Чудовища, возможно, мы есть где-то внутри себя, Ксюшенька. И таковыми будем, обнаружим себя когда-нибудь...

– А, все равно, – махнула ручкой Ксюша. – Ну и, допустим, чудовища... Главное быть. А чудовища, не чудовища – не важно. Лишь бы быть.

– Оно конечно, – вздохнула Алла, отпивая любимый чай. – Провались все пропадом, но ближе себя ничего нет... Но все-таки, Ксюнь, сложности и сюрпризы метафизические всегда случаются... Тут, в пещерной этой жизни, и то чего только нет... А там, внутри, на свободе-то... Эх... Я, бывало, смотрю на себя в зеркало и вдруг вижу – не я это, чужой себе становлюсь...

На пол с дивана прыгнула жирная кошка – любимица Ксюши.

– Хватит, Алка, хватит. Не углубляй. После таких сентенций – мне три самовара надо выпить, чтобы отойти. С водярой я завязала, на время. Кошка и та испугалась: чужой самой себе, ишь! Они-то нас умнее.

Алла расцвела:

– Поймай ее. Я ее поцелую.

– Я тебя лучше поцелую, чтоб у тебя мыслей жутких больше не было...

– А все-таки: где Стасик? – вдруг выпалила Алла. – Слышит ли нас, как ты чувствуешь, интуитка моя?

– Алла, – вздохнула Ксюша. – После всего, что было, после записки, зеркал и рож, – считай его отрезанным ломтем. Забудь его, тебе же лучше. В нашей среде другого найдешь, не хуже...

– Но разрешить же этот кошмар надо! – с упором проговорила Алла. – Здесь надежда, конечно, только на Леночку и ее окружение. Нил Палыч, в сущности, что-то не то. Пусть и необычайный. Не теоретик полностью, не практик – а так, курица метафизическая. Ленок – другое дело. Около нее – огромная, черная, бездонная яма, а она только свистнет, как из черной ямы такие персонажи выскакивают... Ее окружение, так сказать. Куда там Нил Палычу: в этой яме ему только подметальщиком быть...

Ксюша с удовольствием откусила пирожок и свернулась калачиком на диване. Кошка прыгнула к ней – чтоб быть поближе к теплу. Ксюша спросила между тем:

– Когда ж Ленок-то вернется из своего Питера?

– Да сегодня уже должна.

И в это время раздались три загадочных звонка в квартиру.

– Да это Степа идет. Его звонки, – вскочила с дивана Ксюша.

И вошел дикий Степан, Милый, как известно, по фамилии.

– Ты весь в траве, Степанушка, – ласково встретила его Ксения. – Поди, катался кубарем на полянке, да?

Алла тоже восторгалась Степушкой: «Свой, бесконечно свой, и Ленок его жалуется».

Степан входил в эту небедную квартирку, как в некую пещеру, где можно веселиться, не боясь высших сил.

– Куда, куда ты?! – заверещала Ксюша и стала щеткой стряхивать с него пыль. – Подожди чуток, не лезь сразу в кухню.

– Я, Ксения, теплый уже, минут десять назад вернулся на землю, – улыбнулся Степан. – С меня теперь спрос. Тутушный я опять пока.

Алла расхохоталась:

– Мы все такие, увертливые, Степан: то здесь, то там. Одно слово: Россия... Садись пить чай. Ты ведь водку – ни-ни?

Расселись.

И снова вдруг вошла мрачноватая серьезность. Сестры поведали Милому о случившемся. Теперь уж Степан расхохотался:

– А я только этого от него и ожидал! Не горюйте. Стасик нигде не пропадет. Помяните мое слово: нагрянет, появится. В неожиданном месте.

И Степан вдруг с непонятной тупостью взглянул на потолок. На потолке ничего особого не было. На это и обратил внимание Степан.

– Он жить перестал, – хмуро сказала Алла. – Являться он, может быть, и будет, но жить он перестал.

Степан добродушно развел руками:

– Умный человек, значит.

Алла вспыхнула:

– Я скоро перестану верить, что он был. Был он или не был? Меня уже скорее пугает вся эта его фантазмагория, ее подтекст. Предал меня, ну и черт с ним!

– Это не предательство вовсе, – ословело-задумчиво ответил Степан. – А гораздо хуже. Так я вижу...

– Больше всего переживает Андрей, младший брат Стасика, – пояснила Алла Степану. – Родители его погибли. Андрей-то полунаш, и с братом всегда был связан почти мистически, чутьем. От него мы ничего не скрывали.

Степан вдруг впал в забытие. Сестры любили, когда он забывался. Минут через десять Милый очнулся.

– Где побывал-то, Степанушка? – вздохнула Ксюша. – Нас-то помнил при этом?

Степан ничего не отвечал. Лицо его расплылось в бесконечности.

В это время раздался тревожный, длительный телефонный звонок. Ксения подошла. Нажала на кнопку, чтоб голос был слышен всем в комнате.

Говорил Нил Палыч.

Сестры обомлели, а у Степана даже расширились глаза.

– Не влезайте в это дело, – голос Нил Палыча звучал жестко и резко.

– Не исследуйте ничего. Я-то думал, феномен самый обыкновенный, но оказалось – ужас, все пошло по невиданному пути. Такого не бывает. Ни в коем случае не суйтесь. Не шумите, сидите тихо. Ждите моего звонка.

– Где вы находитесь? – с дрожью спросила Ксения.

– За границей, – сурово ответили в трубке. – Скоро буду. Ждите.

И все слышали, что Нил Палыч повесил трубку. В квартире все притихло.

Мяукнула кошка, но слабо.

– Будем ждать, – заключил Степан несвойственным ему голосом.

Глава 4

Андрей, брат Стасика, был взбешен феерическим, якобы бредовым уходом брата.

– Почему он мне ничего не сказал?! – говорил он сам с собой, сидя в пустующем баре около Чистых Прудов. В окно смотрела луна. – Одна недосказанность, словно что-то мешало ему. А мы ведь так близки были всегда!

Кто его довел? Что с ним? Где я?

Он то бормотал, то переходил на язык мысли.

– Но я чувствую, что это глубоко меня касается. Даже моей судьбы...

Мне страшно... Может быть, он и не брат мне вовсе... Нет, нет, он был человеком в чем-то даже обыкновенным, веселым к тому же порой... Как он любил веселиться!!!

К нему подсел какой-то хмурый человек с отрешенным лицом.

Чувствовалось, что ему ни до чего не было дела. Он молчал.

«У многих уходят близкие. Ну, горе и горе, – думал Андрей. – Но здесь что-то чрезвычайное, непонятная утрата, но – да, да, да – это касается моей личной судьбы... Мы были так близки где-то... Со мной что-то произойдет. Вот в чем дело. Потому надо мне докопаться – в чем дело тут, что случилось, наконец!.. Ведь никто не может даже не только понять, но и просто сказать, по факту, что на самом деле случилось. Что произошло?»

Последние слова опять вырвались у него вслух, с визгом, но сидевший напротив даже не пошевелил бровями.

«Надо действовать», – подумал Андрей и заказал еще порцию водки.

Выпил и, посмотрев в лицо угрюмо молчавшему единственному соседу по столику, вдруг закричал в это неподвижное лицо:

– Стасик был моим старшим братом, он как отец... И Аллу он любил... Но предал, бросил и меня и ее. Этого не может быть... Значит, Стасик был не Стасик, а кто-то другой! Что ты молчишь, морда?!!

Сосед в ответ только кивнул головой. Андрей глянул молниеносно и вдруг заметил в нем совсем иное: беспокойно бегающие, безумные, желающие до предела уменьшиться глазки.

Андрей взвыл, плюнул ему в блюдо, поцеловал в лоб и выбежал из бара, бросив на стол деньги.

Он слышал рев соседа:

– Мой друг... мой друг! Но потом и вой исчез.

На улице ему хотелось только одного: разрушать и разрушать. Еле сдерживался с помощью житейских атавизмов в мозгу.

Казалось, вся Москва хохотала над ним. Никогда еще великий город не казался ему таким чужим.

«Все не то, дома, люди, какие наглые постройки, – мелькало в уме. – Тупая реклама».

Он не мог войти в обычное состояние, то быстро шел, то слегка бежал – то какими-то темно-жуткими проулками без единой души, то местами, где потоки света сжигали мысли, где бродили, как в полусне, люди.

– Все было так ясно: учеба, поэзия, философия – и все обрушилось, все затрещало... Все оказалось бредом, а реальность – проваливающийся в бездну брат, его издевательская записка и хохочущая Москва. И ни веры, ни царя, ни Отечества.

«Надо все-таки кому-нибудь дать в морду», – пьяно-трезво подумал Андрей.

Он оказался на пустынной части какого-то бульвара. Мрак разрезался только судорогами огней вовне.

На скамейке Андрей заметил парня. Подлетел и тут же двинул ему в зубы.

К его полупьяному изумлению, парень заплакал, и не думая сопротивляться.

– Ах, плакать! – взбесился Андрей – Сосунок! У мамки или сестры под юбкой плачь! А не при мне! Получай!

И начал колошматить парня, но все-таки слегка, не по лицу уже.

– Я брата потерял, черт тебя дери, сосунок! – приговаривал, колошматя, Андрей. – И не только брата! Я всю реальность потерял, понимаешь ли ты или нет, гаденыш!.. Все рухнуло... Я сам скоро провалюсь куда-нибудь, за братом!

Вдруг он остановился и пришел в ужас от содеянного. Минуту стоял молча перед обалдевшим юнцом.

– Ты меня только прости, парень!.. Я нечаянно!.. Прости... Прости!..

Дай я тебя поцелую.

Парень молчал, всхлипывая. Андрей взревел:

– Ну дай я поцелую тебя, родной!.. Прости меня... Без прощения не уйду.

– Уйдите, уйдите, – взвизгнул вдруг парень. – Мне страшно. Лучше бейте, но не целуйте! И прощение ваше странное!

Андрей истерически расхохотался:

– Ах ты, философ мой! Лао-цзы маленький! Давай тогда я лучше тебе мою рубаху подарю! – и Андрей сбросил затем рубаху с себя. Куртку надел, а рубаху сунул на колени парнишке: – На, хорошая... Мне не жалко... Слезы утри ей или носи на память. И не реви больше, что же с тобою в аду тогда будет, парень!.. Не раскисай!

Здесь еще не ад.

Встал и с загадочной искренностью обнял парня, глядя обездушенными глазами на луну.

– Вперед! – И побежал дальше по темным аллеям и мимо мечтающих о смерти деревьев.

Все время хотелось крушить. Несколько раз основательно швырнул камни в стабильные предметы, в покинутый киоск с пивом, в рекламу, призывающую к сладкой жизни. Одинокие прохожие шарахались, уходя в свет. Но свет был лиловатый с подозрением на мрак.

Андрей подбежал к проститутке. Но отпрянул, поразившись ее беспомощности.

– Молодой человек, молодой человек! – дико закричала она ему вслед. – Куда же вы от меня, куда же вы?

Ответа не было. Женщина задумалась:

– Не надо было мне становиться проституткой, последнее время многие бегут от меня, как только увидят... Но почему, почему?.. Что во мне вызывает отвращение?

И она попыталась взглянуть на себя без зеркала, но ослотившийся взгляд застыл в пустоте.

...А Андрей все больше и больше свирепел:

– Это не мой город! Это не Москва! Она изменилась!

И он остановился, пораженный воспоминанием о человеке в баре: то, как босс какой-то, молчал, то вдруг глазки стали бегать, как крысы!

– Где мой брат, где мой брат?.. Где реальность?.. Я ищу тебя, Стасик, я ищу тебя! – дико и хрипло закричал Андрей. – Я ищу тебя!

И оказался прямо перед стариканом в хорошем пиджаке. Лицом к лицу.

– Ты не Стасик случайно? – спросил сразу. – Ты не Стасик??

– А кто такой Стасик? – осторожно поинтересовался старик.

– Считался моим братом, учил меня уму-разуму, а сейчас – не знаю кто... Пропал... По зеркалам только шмыгает, может быть.

– Ну-ну, – миролюбиво ответил старик. – А меня, между прочим, тоже Станиславом зовут. Станислав Семеныч, могу представиться.

Андрей ошалело посторонился.

– Батюшки, вот оно что! Имя и отчество совпали, может, и остальное тоже совпадает.

Старикан поежился.

– Боишься? А хочешь, я с тебя сейчас штаны сниму? А там видно будет!

Старикан от изумления раскрыл было рот, в который Андрею захотелось плюнуть, но в то же мгновение он заметил, что выражение лица старикана кардинально изменилось: оно стало хищническим, почти вампирическим, словно все лицо превратилось в оскал.

Андрей стал трясти его за пиджак.

– Ты что? Ты кто? Пенсионер или вампир? Или, может, ты мой отец?

Но вместо ответа на такие вопросы Андрей увидел широкую, слезящуюся улыбку, расколовшую лицо старика, и лягушачий, просящий взгляд.

– Только не бей, не бей, ладно? – пробормотал старик. – Лучше пиджак возьми, и все тут.

Взгляд его стал настолько умоляющим, даже глубинно-женским, жалостливым к себе, что Андрей мгновенно стал внутренне относиться к нему как к женщине.

– Может, вас проводить, Стасик? И уложить в теплую постельку? Да? – змеино-сочувственно высказался он.

– Креста на вас нету, – вдруг прозвучал вблизи голос простой бабки. – Что пристали к старику? Помереть спокойно не дают людям!

Андрей сразу же остыл, словно его окатили холодно-нездешней водой. Но потом опомнился.

– Не на мне креста нету, а на мире этом – на всем этом мире, вот так! – крикнул он вслед бабке.

Старикана и след простыл, даже от его женственности пятна не осталось.

«Надо бы обрызгать это место духами, – подумал Андрей, – да духов нет».

На небе все темнело и темнело, неумолимо и безразлично. Андрей присел на скамейку. И вспомнились ему глаза брата: большие и невинно-жуткие.

«Как это Алла его не зарезала, такого, а ведь они любили друг друга, особенно он. Все говорил мне: «Лучше я умру, чем Алла».

Андрей вздрогнул: «Так и оказалось, впрочем... Хотя что я? Он же не умер. Он бы тогда так в записке и написал: мол, жизнь опротивела, хочу на тот свет... Так нет ведь... Он явно жив, но в каком смысле, и к тому же не хочет нас знать: ни меня, ни Аллу, никого и ничего. Всех кинул».

И перед умом Андрея открылись вдруг глаза Станислава. Он вспомнил, что, по рассказам матери, старый цыган, заглянув случайно в глаза трехлетнего тогда Стасика, со вздохом сказал:

– Большой шалун будет парень.

И с уважением отошел в сторону навсегда.

– Что буйствуете, товарищ? – раздался рядом голос милиционера, по старинке употребившего это старомодное слово «товарищ».

Андрей снизу невзрачно посмотрел на него.

– В чем буйство? – только и спросил.

– А я откуда знаю, – спокойно признался милиционер. – Что вы тут разговариваете, платите штраф и все тут.

Милиционер слегка пошатнулся.

– Так денег нет.

– Брось ты, сколько-нибудь да есть. Дело в дружбе, а не в деньгах... Короче, отстегивай.

– Сто рублей только есть, – ответил немного приходящий в себя Андрей.

Подумал даже, что бить милиционера опасно, избиение при исполнении – дело серьезное, могут найти, да и парня этого просто так не избьешь.

– Ну, ладно, сто рублей тоже деньги. Давай, не мешкай. Рот не разевай.

Милиционер помял бумажку в потной руке и добавил:

– А как же ты домой-то доедешь? Ишь, на ногах не стоишь, как и я. На тебе десять рублей сдачи и иди себе с богом, – миролюбивое, даже отеческое, было заключение.

Андрей взял десятку и пошел.

– Смотри, на меня не обижайся, – выпалил ему в дорогу милиционер. А потом, помолчав, добавил криком: – Будешь обижаться, арестую!

Глава 5

Нил Палыч вошел тихо, никого не трогая. Лена открыла ему, потому что он постучал по своему: три стука, пауза и потом четвертый. Да и вибрации были его, нажатие же на кнопку он отрицал. Лена была одна в квартире. Наступала ночь, потому и не спала.

Нил Палыч был в плаще, в очках, чуть сторбленный. Но глаза смотрели настолько дико-всепроницающе, с голубым мраком, что Лена обрадовалась.

– Не спишь, Ленок? – строго спросил старик. – О чем думаешь-то?

– А о том думаю, Нил, – резко выпалила Лена, – что я по судьбе вселенных всех соскучилась. Все якобы хотят в небо, в небо, к Духу, к Первоисточнику. Правильно. Я там, кстати, была. Не так уж близко, но все-таки. И вот что скажу: не только там, но и во Вселенной нашей, и на земле особая тайна должна быть. Своя, глубинная, непостижимая пока и отличающаяся в принципе от тайн Неба, может быть, скрытая для Него, для высших-то, что-то невероятное, так что особый орган познания надо иметь, чтобы войти в эту тайну. Я чувствую это интуитивно, а то все дух и дух, но ведь помимо этого есть глубины бытия, относящиеся только к мирам, а не к духовному Небу. Я не говорю даже о Великой Матери, повелительнице миров и материи... Я и плоть стала любить свою! Что-то есть сокрытое, помимо Духа.

– Ну пошла, пошла, ты все за свое, Ленок, – осклабился Нил Палыч. – Ты хоть меня чайком напои. Бедовая!

И он по-отечески хлопнул Леночку по заднему месту и велел идти.

– Пополнела ты, тридцать лет, а красотой сияешь лунной и юной, – прошамкал он.

Лена не обиделась, она знала причуды Нил Палыча и их неявную скромность.

Прошли в кухню, к уюту, к варенью. За чаем Лена продолжала:

– Пусть миры будут сами по себе, а через нас Бог познает страдание и нечто глубинно-земное, чего нет в сияющем центре Духа, а только, так сказать, в подземельях Вселенной.

Нил Палыч вдруг строго посмотрел на нее.

– Ленок, хватит. Кому ты это говоришь? Старой потусторонней лисе Нилу? Приди в себя и не грезь. Пусть смерть твоя тебе не снится!

Ленок опустила взор.

– Не замахивайся слишком далеко, Лен. Смотри у меня. Я по делу пришел.

– А что?

– Стася пропал.

И Нил Палыч быстренько за чаем и лепешками рассказал Лене, что произошло.

– Ну и что? – расширила глаза Лена. – Что тут экстраординарного?

Нил Палыч закряхтел.

– А вот ты послушай старого лиса и практика...

– Вы один из... – холодно-ласково возразила Лена.

– Ты права... Все было бы хорошо, – зашумел опять Нил Палыч, – если бы не одно обстоятельство. Невидимый мир пошатнулся, Лена.

– Как так? – Лена даже вздрогнула и уронила на пол лепешку.

– В невидимом есть свои законы, Ленок. Хотя они гораздо более свободные, чем наши. Но они есть. И вот я по некоторым чертам исчезновения Стасика усек, что в этих законах появились прорехи, что возникла сплошная патология в том невидимом мире, который окружает нас. Извращение на извращении, патология на патологии...

– Вот те на, – только пробормотала Лена.

– Мы и так, без этого, в этом миру полусумасшедшие живем, – добродушно продолжал Нил Палыч, откусывая медовый пряник. Его лицо скрывалось за сладкой улыбкой. – А после такого сама знаешь, какие сдвиги могут у нас, здесь, произойти. Ведь оттуда все идет.

И Нил Палыч даже слегка подмигнул Лене. Наконец добавил:

– Я уже не говорю о спонтанности появления изображений в зеркале. Ведь так, ни с того ни с сего, без соответствующих приготовлений увидеть, к примеру, свою собственную темную сущность в зеркале, обратную сторону... или еще что – так просто это не бывает... Конечно, все знают, что зеркало связано с невидимым миром, но не так же грубо и прямо. В этих феноменах на квартире Аллы много патологии.

Лена вдруг стала совсем серьезной и мрачновато поглядывала на Нил Палыча.

– Условия не соблюдены. Но главное произошло, когда я взглянул на себя.

Тут у Нил Палыча внезапно немного отвисла челюсть, и глаза растеклись страхом перед самим собой.

– Ты знаешь, – хлебнув из чашки чайку, продолжил он, – в какие только зеркала я не всматривался. В себя, разумеется. И всегда появлялось то, что и должно было быть. Я своих монстров знаю, – хихикнул старичок. – И вот, представь себе, Ленок, – тут уж глаза Нил Палыча скрылись, как луна во время лунного затмения, – посмотревши в зеркало, там, у Аллы, я увидел такое, что и описать невозможно! И это был я, мой образ на звездах и в будущем!

Лена впиалась в него взглядом.

– Страшно, страшно, Ленок, встретить людям себя подлинного. Это тебе не черт глупый. С ума сойдешь. Но я ведь, ты знаешь, все это воспринимал спокойно: ну, монстры, ну, нижние воды, столица скверны, все ведь это в нас, людях, есть.

– Но это может быть чудовищнее чудовищного! – вскричала Лена. – Ведь их приглубить надо, этих монстриков в нас, чтоб не бунтовали...

– Не в чудовищности дело, – один глаз Нил Палыча открылся, и в кухне повеяло голубым небом, – а в патологии. Это был я и не-я. Сдвиг. Весь кошмар заключался в том, что я увидел себя, превращенного в не-себя, в совершенно иное, бредовое существо, похожее скорее на поругание всего, что есть реальность.

Последнее особенно задело Лену: – Ужас! – только и выдавила она.

– Правильно, дочка. Именно поругание реальности.

Другой глаз Нил Палыча тоже открылся, и комната, как почувствовала Лена, стала малиново-голубой. – Давно пора ее... – прошептала Лена.

– Не спеши, не спеши, дочка. Много вас, молодых, торопливцев. Если каждый спешить будет, особенно с реальностью...

– Молчу, молчу, – вздохнула Лена.

– То, что я увидел, не может быть. Обычно считается – зеркало говорит правду. Пусть внутреннюю, но правду. А здесь получилось страшное, непредсказуемое, патологическое превращение в грядущую правду. У молодежи вашей – Аллы и Ксюши – сумбур. Не поняли, что произошло, но были близки к обмороку, нарцисски эдакие, только бы им на себя глядеть, вот глянули – теперь запомнят. Ксюша-то бедная даже в теле сразу как-то уменьшилась, по крайней мере духовно.

Лена нервно закурила:

– И какой же вывод?

– И некоторые другие важные детали говорят о том же. Да, невидимый мир пошатнулся, в него вошло нечто иное, чего не было до сих пор.

– Как умирать-то тогда, как умирать?! – вдруг выпалила Лена.

– Увидишь тогда неопишное, – сухо ответил Нил Палыч.

– А я заметила, Нил, что и вправду последнее время взгляд покойников стал меняться.

И глаза тоже.

Нил Палыч соскочил со стула.

– Я побегу! – вскрикнул, схватив что попало и бросив потом это на пол.

– Куда же вы теперь?

– К себе, к себе, Леноч, как и вы. К грядущим монстрам!

– Да ладно, успокойтесь. Не все в людях такое, – спохватилась Леноч.

В дверях Нил обернулся и, блеснув малиново-черным взглядом, строго сказал:

– Завтра к тебе Алла с Ксюшей придут делиться. Я еще с ними не говорил. Устал тут от вас. Ты им о том, что я тебе рассказал, – ни-ни. Я сам им все подам, осторожно. Не пугай их.

– А Стася?! – выкрикнула Лена, когда Нил Палыч уже как-то бодренько спускался с лестницы: лифтов он опасался.

– Стасик, что ж! Попался, как курица в супок. Хотел нырнуть как лучше, а получилось как всегда. Ну, он не виноват.

И Нил Палыч громко бормотнул на прощание:

– Ты, Лена, особенно не грусти! Не то еще будет!

Глава 6

Лена и не думала рассказывать кому-либо о том, что в невидимый мир вошло что-то грозное, во всяком случае иное.

«Хватит с нас этого мира, чтоб сойти с ума. Куда уж дальше, – подумала она. – И значит, все-таки не в патологии или извращениях дело – это всего лишь деталь, мелкое следствие. Главное – в другом... Брр... Не хочу умирать».

Но с глазами мертвых было, пожалуй, еще сложнее. Ленуся сама видела необычайное. С некоторых пор все в покойниках стало меняться, даже их вид, если взглядеться, конечно. А Леночка вглядывалась.

Она не так давно прочла у одной исключительной по силе русской писательницы такую строчку: «Лицо мертвой стало до безумия спокойным».

«Как в точку смотрела. Поди, по моргам шлялась», – подумала Лена.

Именно это и поразило, когда она, еще до чтения книг проницательной писательницы, увидела лицо покойного адвоката.

Спокойствие в нем было именно безумным. «Такое спокойствие может быть, только когда тебя приговаривают к вечному отторжению и ты ничего уже сделать не можешь, – думала она. – А может, я вру, на самом деле это спокойствие безумия необъяснимо. Не сможет понять его и сам мертвец, пусть и в своем собственном сумасшествии».

Леночка тогда поежилась и даже вздрогнула. И на следующий день пошла проверять: так ли это у других покойников.

Долго проверяла – месяц, другой. По возможности, конечно, по собственной метафизической прыткости. А в этом ей было не отказать. Все искала и искала. И натыкалась на одно и то же: ледяное окоченение безумия, высшая отрешенность, ведущая в никуда.

«А как же связь с предками, – мелькнуло в ее уме, – что они теперь нам скажут?»

Стою как дурак на дороге,
Впервые страшусь умереть.
Умру – и забросят боги
В его ледяную твердь, –

вспомнила она стихи знакомого поэта о камне.

Ленуся была пронзительна на чтение мыслей мертвецов, не то что другие, и потому видела многое, включая взгляд закрытых глаз.

Но теперь от этих глаз шел бесконечный холод, исходящий из глубины отдаленного бытия.

Однако ей попадались – взгляд, взгляд вовнутрь у нее был! – и другие мертвые, совсем другие: иные были веселые, другие действительно небожители, просветленные, и даже совсем необычайные. Это облегчало душу.

«Не все потеряно, – истерически думала она, – не все».

Но прорыв этого безумного спокойствия все же совершился. И от этого скребло на душе. Вдобавок жалко было своих.

К тому же Лена чувствовала, что дело тут и не в них, а в чем-то до боли серьезном, огромном, страшном, исподволь вошедшем в невидимый мир.

И мелкая дрожь проходила по телу, но в сердце было жутко и каменно.

Потом исчезало.

Вскоре один случай чуть не добил ее, но в возвышенном смысле, конечно.

На этот раз не надо было шляться по кладбищам, а просто умерла бабка у подруги со школьных лет. Ну, умерла так умерла.

Гроб с покойной поставили на день в одной из комнат квартиры, где и жила эта подруга, Ася. Чтоб можно было прощаться с телом, кто хочет. Двери были для всех открыты. И Лена пришла – из дружбы к Асе, хотя бабку и не знала. Пришла, посмотрела, поцеловала и ушла. Цветики оставила на гробе.

На следующее утро Ася звонит вся в слезах: гроб с бабулей исчез. Нету его, и все. И бабули нет!! «Мы туда-сюда, – плакалась Ася по телефону, – нигде их нет. К соседям заходили. Те ругаются, ничего не знают...»

Ленуся была крайне удивлена происшедшим.

– Что за чертовщина, – пробормотала она.

– Ты все за свое, – обиделась Ася. – Никакая не чертовщина, а просто сперли, сволочи...

И бросила трубку.

Дня через три Лена перезвонила и спросила:

– Ну как?

Сам веселый голос Аси говорил о том, что все в порядке.

– Нашли, – радостно объявила она. – На даче.

– Но почему и кто увез?

– Неизвестно. Да мы и не допытывались. Не нам знать, кто и для чего. Нашли, и слава богу. Уже похоронили. Как гора с плеч. А то совсем дико бы получилось. Милиция уже стала вмешиваться. Орать. Целую.

- Подожди. А старушку-то хоть поцеловали? – слабым голосом произнесла Лена.
- А как же! Вообще расцеловали. Вся в цветах ушла под землю.
- И Ася повесила трубку.

Но странность перемещения гроба и внешняя ненужность этого события навяли на Лену самые противоречивые мысли. Глубоко она задумалась, одним словом.

Однако жить все равно надо было. Больше всего ее парализовывал и поражал какой-то нездешний и в то же время безумный покой на лицах мертвецов. Этот покой внутренне походил на сумасшествие. Она чувствовала, что созерцаемый мертвец вот-вот проснется и дико закричит. Во всяком случае, покойники казались ей на грани крика, даже визга, но никто не переходил эту грань.

И она стала избегать мертвых. Только однажды попала на похороны старичка. Но тут произошёл конфуз: ей показалось, что старичок подмигнул ей, весьма лихо и непонятно. «Невидимый мир ошалел», – подумала она тогда.

Здесь как раз Нил Палыч и подвернулся.

Глава 7

Вот и дверь, ведущая в квартиру Лены Дементьевой. Алла подошла к ней, забыв о своем существовании. Но Ксюша все помнила. И она была рядом.

Алла чуть-чуть не ущипнула Ксюшу.

– Помни, Ксю, что Нил не хочет, чтоб мы исследовали... и искали. Но не мы будем искать, а попросим Лену или кого-нибудь из ее окружения. С нас и спроса по большому счету не будет – нас как бы и нет.

Ксюша сморщилась.

– Это их нету, а мы есть.

Алла нажала на звонок, словно это был мозг мертвого Станислава. Леночка открыла.

– А, это вы... Входите, родные. Но у меня кавардак.

– А что?

– Увидите.

В передней этой огромной квартиры послышалось шуршанье. Откуда-то высунулось существо, похожее на девочку лет тринадцати-четырнадцати.

Тут же хлопнула другая дверь и вызвалась из тьмы старушка в халате.

– Не твори, Дашка, не твори, – зашипела она довольно громко. – Зачем ты предсказала, что дядя Валя проведет ночь в канаве? Но ведь так и случилось! Все, что ты ни болтаешь, сбывается, дрянь ты этакая.

– Она не дрянь, а вещунья, бабушка, – сухо вмешалась Лена и обратилась к сестрам: – Даша племянница моя. Ясновидящая. Но ясно видит только быт. Остальное – пока не дано.

Бабуля чихнула:

– Только быт! А то, что кошка моя во сне меня укусила – это она накаркала! При чем же здесь быт.

– Я не каркаю, баб, а говорю правду, ту, что будет, – закричала Даша.

– Помолчали бы! А то еще такое предскажу! Все будущие дни у меня на ладони. И про училку все знаю. Она мочится в постель по ночам! Хи-хи-хи!

И девчонка скрылась за дверью. Леночка улыбалась.

– И вот уже шестая неделя, как у нас так. С тех пор как Даша здесь отдыхает.

Ошалев, но не очень, сестры прошли в столовую. Ленуся предложила выпить. Алла мрачно согласилась:

– Самое время.

– Забавно, не правда ли, – сказала Лена после первой рюмки коньячка. – Мамаша ее, Ухова Антонина Семеновна, считает, что из девчонки вырастет пророчица. И на деньги надеется... Нелепо и смешно, Даша каждый завтрашний день по полочкам раскладывает с вечера: кто там будет чихать, болеть, кто запьет, кто на работе поскандалит, где кошка напроказит, молочко прольет...

Никогда не ошибается. Кассандра эдакая на всякую чушь. Но жизнь Уховых, родителей и родственников, превратила все-таки в сумасшедший дом. Чуть не до драки, до мордобоя доходит. Главное, что каждый день все сбывается...

Изнемогли они и сейчас отдыхают, а Дашку – нам сунули. Я сказала Сергею – пусть, невидимый мир тоже смешон. Посмеемся... И даже великие пророчества – всего лишь сон...

Ксюша вздохнула в ответ.

Алла вступилась, однако:

– Чушь-то чушью, но суть-то в этих способностях – считывать будущее... Сейчас на Руси, говорят, детки пошли такие, чуть не с младенчества знают, что у ихних мамаш на уме. Так ведь действительно все перевернется.

Ксюша махнула рукой:

– Плюнь, Алка... И так уже все давно перевернулось. Перевернется еще раз, ну и что?

Лена засмеялась:

– Это по-нашему.

Но тут дверь отворилась, и ввалился дядя Валя – отменный человек лет около сорока.

– Дашку только не пускайте, а то еще предскажет чего-нибудь при всех...

– Знаю, знаю, – дядя Валя (брат матери Лены) расселся на диване. – А где Юрка, кстати? Я его сегодня не видел, хотя всю квартиру обыскал.

Юрка был сынок Лены, пятилетка еще.

– К деду отправили, – прозвучал тихий ответ. И все вдруг замолчали.

Дядя Валя, отведав порцию коньячка, рассердился.

– Лена, Дашку надо в тюрьму, там ее место. Я отроду в канаве не спал, а она накаркала, пригвоздила событие. Я человек хотя и занятный, но в запое всегда серьезный, без дураков. Мы с Андреем, который Стасика брат...

Дядя Валя вдруг остановился.

– Мне в канаве сны снились. Будто Дашка старухой стала и пророчицей насчет душ в аду. И еще ее обвинили в манихействе и сожгли. И дымок, дымок такой шел, ух, я даже проснулся.

– Дядя Валечка, до чего ж ты милый, – ласково проговорила Ленуся.

За лаской и простотой прошло еще несколько минут. Потом в коридоре раздался полуклопачий визг, и в столовую выскочила бабуля – Анна Ивановна.

– Ох, изведет Дашка нас, изведет, – заохала Анна Ивановна. – Поверишь, Лена, подходит она ко мне, показывает язык и брякает: «А теперь я знаю, когда ты умрешь».

– Ого, это уже серьезно, – ответила Лена.

– За такое бить надо, – вставил дядя Валя.

– Я ее и двинула малость тряпкой по харе, по пророческой... Ты извини, Лена, но сколько же можно терпеть?!

– Она ведь и правда знает... – мрачно произнес дядя Валя.

– От правды-то и весь мрак пошел, – уверенно вставила Ксюша.

Лена встала и вышла. Когда вернулась, все разом:

– Ну что?

– Я ей сказала, что, если о смерти кого-либо слово молвишь, маме скажу. А она это очень не любит и здорово выпорет тебя. И что же? Дашка в ответ завизжала: «Буду, буду, все узнаю и всем, особо когда близко, в глаза буду говорить, когда и как помрешь. Что, мне уже гадости нельзя делать?!» Вот такая наша Даша, – закончила Лена.

– А еще ребенок, отправить ее обратно, – прямо-таки заскулил дядя Валя. – Хватит с меня канавы.

– Да черт в нее вселился, и все, – сказала Анна Ивановна.

– Не всегда талант чертом объясним, – возразила Лена. – Бабуленька, ты лучше подремли здесь после напряга, а я уж с ней разберусь.

Бабуленька согласилась. Дядя Валя сказал, что уйдет в запой. Алла наконец встрепенулась:

– Леночка, а представь, что много таких будет, уже по большому счету.

Будут заранее знать и про смерть свою родную, и когда бомбежка будет, и когда власть сменится, и про тайные действия, конечно. Вот жизнь будет.

То-то сумасшедший дом! А обычные люди в дураках будут сидеть.

– Если масштаб будет такой, то государство под контроль таких типов возьмет, – ответил дядя Валя.

– Государство само-то с придурыю, – вставила Ксюша. – Государство-то из людей состоит.

– Ну, я пошел, – заключил дядя Валя.

И сестры остались одни наедине с Леной.

– Ну, а теперь о чем-нибудь великом надо поговорить, – усмехнулась Лена.

– Не до величия сейчас, Ленусь, – вздохнула Алла. – Мы к тебе как к старшей и мудрой эзотерической сестре пришли. Муж мой исчез, совсем пропал. Помогите.

Лена помрачнела.

– Слышала об этом. Расскажите подробней.

И Алла рассказала – не так уже надрывно, как раньше, но не без тоски.

– Нил Палыч не хочет, чтоб мы влезали в эту историю, но тебе он перечить не будет, – заключила Ксюша. – Никто ничего не знает. И Нил Палыч в том числе. Пуглив стал. Хотел нам что-то важное еще сказать, но и сам куда-то пропал. Одни пропажи кругом. Я сама боюсь провалиться...

– Нежная ты слишком, Сюнька, вот и боишься, – прервала ее Алла.

– Аллочка, ты просто для облегчения души ко мне обращаешься, что ли? – спросила, помолчав, Лена. – Ты же знаешь, что я в таких делах не мастерица. Другие у меня наставники были, и не этому я училась. А теперь уж сама по себе вроде иду... Могу только посоветовать.

– Про что? – спросила Алла.

– Раз Нил Палыч скис, то кто же? – задумалась Лена. – Это ведь глобальное исчезновение, Алла. Ничего не поделаешь. Фундаментально Стасик исчез, а если вернется, то будет ли это Стасик?.. Единственное могу сказать, дамочка тут одна есть, ох потайная, ох потайная... От всей Вселенной может скрыться, не то что от милиции... Но доступ к ней у меня есть, в моих беляньких, нежных ручках...

– Они у тебя, Лен, на мои похожие, – с удовольствием вставила Ксюша.

– Только у меня попухлее.

– Чайку, что ли, выпить теперь, – вздохнула Лена. – Дядя Валя ведь заварил – от запоя им спасается в будущем.

– Хороший чай лучше водки, – заметила Ксюша. – Потихонечку только.

И что же?

Разлили чай. Печенье отсутствовало.

– Я все возьму на себя, – начала Лена. – Как и что – не спрашивайте. К Самой зайти нельзя. Но я дам телефончик и адресок, посидите там, поговорите келейно, по-семейному с ними, а потом и Сама возникнет. Незаметно так.

– Не опасно? – тревожно спросила Ксюша.

– Обижаешь. Что ж, я своих к опасности подведу?

– Опасность, она сама по себе, а друзья и родные – они тоже сами по себе, – вздохнула Ксюшенька. – Опасность, она помимо нас идет.

– Ладно, Ксюш. Я Стасика теперь не то что люблю, но не брошу, – заметила Алла, допивая чай.

– Правда, один сучок в глазах есть, – продолжала Ленуся. – Парень один там есть. В сущности, мальчик лет шестнадцати, но тертый калач. Я попрошу – его приберут к вашему посещению. С ним встречаться нельзя. Пусть себе в другом месте будет.

– Что ж это за тип такой? – спохватилась Алла. – Его, выходит, и видеть нельзя!

– Ни в коем случае. Еще хуже, если он вас увидит.

– Ну и ну. Наверно, хорош.

– Аллочка и Ксюшенька, родные мои, только не беспокойтесь, я вас в обиду не дам, – улыбнулась Лена. – Когда еще я своих подводила? Никогда. Все будет тихонечко. Что за парнишка и в чем его беда, они сами вам скажут. Но его не будет.

– Ну, если его не будет, то хорошо. Главное, что мы будем, – ласково пропела Ксюша.

– Будем, будем!

Ксюша и Алла повеселели. Леночка просветлела, глядя на них.

– Еще скажу, – добавила она. – Если Сама не найдет, то и искать нечего. Тогда только на высшую волю положиться – и присмиреть...

Разговор об этом закончился. Но посидели еще с часок, попивая чаек и размышляя вслух о бессмертии.

– Моя кошка прямо стонет, когда я ей на ушко о смерти говорю, – заключила Ксюша. – Кошечка, а ведь тоже страдает от своей смертности.

– Мнимой, естественно, – заметила Лена.

– Однако для нее, может быть, полумнимой все-таки, – вставила Алла.

– Сергей скоро придет. С новостями, – объявила Лена.

– Но не о бессмертии же, – вздохнула Ксюша. – Нам все-таки идти пора. Ишь, как время-то пролетело за разговором о вечности. Так не заметишь, как и смерть придет.

– Бог с ней, со смертью. Не наше это дело как будто. Надо идти – идите. – Леночка встала. – Прощаемся чуть-чуть, родненькие, и пусть будет все по-нашему.

Глава 8

Мутный ужас овладел вдруг Ксюшей, когда она подходила к дому, указанному Леной. Содрогалась почти. Из головы не выходил парень, которого нельзя видеть. Но Алла была спокойной. Да и голоса хозяев, к кому они шли, предварительно согласовав с ними по телефону, были на редкость мирные, даже до ненормальности мирные и обычные. Алла, увидев, как волнуется Ксюшка, стала успокаивать ее:

– Стыдись, ты что же, в Лену не веришь?

– В Лену-то я верю, сомнений у меня на ее счет нет, – бормотала Ксюша, – но вот как бы Господин Случай не подвел. Шкуронькой своей я не люблю случайностей, сестренка. Жизнь-то одна, а случаев много.

– Ты же не знаешь, что такое случай, по высшему счету говоря, – резонно ответила Алла. – А все равно боишься. Потому что твой разум не может совсем совладать с твоими нервами и нежностью к себе. Возьми себя в руки, Ксения, метафизика должна проникнуть не только в твой разум, но и в кровь. Так говорит Лена, и она права.

– Разум уходит из мира, Аллочка. Даже высший. На время, конечно. Надеюсь, – пробормотала Ксюша. – Но я возьму себя за нервы, не думай...

...И наконец они постучали в дверь. Почему именно постучали, а не позвонили – неизвестно, скорее всего, они просто позабыли о звонке.

Открыло им дверь семейство Потаповых: хозяйка, Евдокия Васильевна, ее муж Петр Петрович (были они уже в более чем средних letech) и бабушка Любовь Матвеевна, еще постарше их. Где-то прятался дед Игорь, точнее – Игорь Михеич.

Семейство улыбалось.

– Мы вас ждем, хорошие наши, – прошамкала Любовь Матвеевна, – квартира большая, все разместимся по-доброму.

– Леночка нам все объяснила, идите туда тихонечко себе, – молвила Евдокия Васильевна, указывая в некое пространство.

Прошли.

В стороне мелькнула тень деда Игоря.

Расселись на креслах и диванах – но за столом.

– Мы вас угощать не будем. Сама не велела, – уютно и с искренностью произнес Петр Петрович.

– А она где? – быстро спросила Алла.

– Она будет, – ответили ей.

– Да мы кушать и не собирались вовсе. Не до того, – вставила Ксюша. – Другой раз побалуемся.

Затихли.

И вдруг тонкий слух Аллы уловил далекий вой.

– А это кто? – нервно спросила она.

– Это тот, с кем вам встречаться не велено, – строго заметила бабушка Любовь Матвеевна.

Сестрам становилось понятней, но холодок прошелся по спинкам.

– Кто он? – выдавила Алла.

– Раз вы от Лены, мы все скажем, – проговорил Петр Петрович. – Это сын наш.

– Сын?! И что?

– Говори, говори, Петр! – взвизгнула Евдокия Васильевна. – Раз от Лены, может быть, и помогут чем-то!

– Миша, сынок наш, – со слезами в голосе проговорил Петр Петрович, – убийца наш, вот кто он...

– Говорите яснее все-таки, – раздраженно и чуть истерично прервала его речь Ксюша.

Евдокия Васильевна тоже вспыхнула:

– Пророк он у нас, вот в чем дело... Тыфу ты... Не пророк, а хуже...

Года три назад, сейчас ему шестнадцать, мы все поняли, что про кого он плохо подумает, с тем обязательно несчастье произойдет. Даже невольно, со зла какого-нибудь, подумает, а то не дай бог скажет, так у того все может быть, и на следующий день причем, на худой конец дня через два-три. То руку сломает, то упадет, то побьют его, то болезнь. Больше всего нам, домашним его, доставалось. Посмотрите на мои ручки, на ноги! – мамаша перешла на крик и обнажила даже ногу перед гостями.

Все было в синяках, в кровоподтеках.

– А муж мой, Петр Петрович, видеть из-за него плохо стал! – вскричала Евдокия, указывая на супруга.

– Что-то я не так сделал недавно, – вставил Петр Петрович. – Не понравилось ему. Ругнулся с досады. И уже к вечеру у меня глаз – не глаз, а черт-те что!

Только сейчас ошалевшие Алла и Ксюша обратили внимание, что Потаповы действительно хоть и приоделись, но физически потрепаны, как-то пришиблены, смотрятся побитыми и смирными, даже во время крика.

– Неужели так уж установили причинную связь? – спросила Алла, приходя в себя.

– Да что мы, сумасшедшие, – внятно прошептала бабушка, – уж сколько лет тянется. Проверяли. Приходили сюда, эксперименты ставили, Лена знает кто. Да он сам знает. Последнее время переживает очень, плачет, как птичка, – умилилась старушка.

– А злую мысль остановить не может, пыхтит, возится, но редко получается, – развел руками Петр Петрович. – Мы уж и туда и сюда. Врачи от нас бегом тикают. Знатоки, экстрасенсы всякие хотят помочь, но в пустоту.

Говорят, мы в нем не вольны. Если б не Сама, то Мишка давно б с ума сошел.

От совести...

Ксюша, погладив себя по коленке и мысленно выпив полстаканчика смородиновой наливки (на столе ничего не было), спросила:

– А запирают его вы давно стали?

– От гостей вообще мы его, почитай, с годок прячем. После случая с Витей, – объявила Любовь Матвеевна полуневнятно, но до всех дошло.

И тут супруги неожиданно завелись. И стали вдруг странно похожи друг на друга и почти кричали, как из одного гнезда, одинаково и истерически.

– Невозможно это было перенести! – кричала Евдокия Васильевна.

– В суд на нас хотели подать! – в ту же секунду выкрикнул Петр Петрович.

– Как сейчас помню, Витя вот тут сидел, рослый и сильный, лет семнадцать ему, где вот вы сидите, Ксения.

– И черт его дернул Мишу обидеть. И сказал-то так резко – из таких, как ты, как Мишка, значит, ничего не выйдет. Ты, говорит, был ноль, сейчас ноль и таким и останешься!

– Может, он видел: Миша тихий, застенчивый и какой-то однообразный долгое время был, – вставила между криков старушка.

– А сын-то покраснел весь, руки дрожат, и говорит ему, Вите: а ты завтра вечером подохнуть захочешь, да не сможешь. Вскочил и убежал. А Витя нам: да он у вас ненормальный. Мы и Витю этого выгнали за ненормальность эту...

– А на завтра к вечеру пошло, – совсем уже взвизгивая и почему-то потея, начала Евдокия Васильевна. – Витек этот, нормальный, пухнуть стал головой и вообще. За ночь разуродился так, что не узнать.

– Весь красный стал, глаза бегают, и слова птичьи, нелепые произносить стал, а русские слова забыл почти. Но родителям успел рассказать о случае...

Петр Петрович остановился, вздохнул и попросил жену не перебивать дальше. Та сникла.

– Отец не поверил, а матушка сначала с ним, с небожителем таким, к нам заявила: вот, мол, что вы наделали. А потом, говорят, в милицию побежала, так, мол, и так, сына замуровали в ходячий труп и заколдовали. Сделал это Миша, пятнадцати лет от роду, ученик средней школы. А начальник-то и так от естественных дел зол был, а на это так рассвирепел, что схватил матушку Витьки за шиворот и сам выставил ее на улицу, в дождь...

Ксюша охнула.

– И много было у Миши таких случаев?

– Такой один, кажется. А там кто его знает, – включилась старушка. – Через месяцок-другой Витек поправился. Сошло с него. Но уважительный такой стал, особенно по отношению к младшим – Мишук же младше его был. Даже, говорят, иной раз какого-нибудь пацана в садике увидит, так в ноги ему бросается, а уж кланяется, бают, всегда. Но учиться хорошо стал, на космос стало тянуть после такого случая.

Ксюша с трудом сдерживала эдакое утробное хихиканье внутри себя.

– В школе его уже начинают бояться, особенно учителя, – мрачно добавил Петр Петрович. – Одна говорит мне: «Как ваш-то нахмурится на меня, у меня и дочка, и кот заболевают. Но разбираться с Мишей не буду – как бы на том свете мне хуже не было. Неизвестно ведь, кто он, ваш сын». А он-то, Миша, плачет, сам не свой.

И опять донесся приглушенный, не похожий ни на что вой.

– Ничего страшного, – махнул рукой Петр Петрович. – Он сам просится в чулан. Это у нас маленькая комнатуха без окон. Там он и сидит. Почему-то любит, чтоб его там закрывали. Но сейчас он чем-то обеспокоен...

– Вы не бойтесь, – вставила бабуся. – Ему надо видеть и озлиться на человека, чтоб на того нашло. Тех, которых он не видит, – тем ничего. На дочку ту перешло, так это ж он мать фактически обогрел. Станный он, хоть и внучок мне. Мы его жалеем, но боимся. Да он и сам себя боится, правда, Петя?

И старушка обернулась к сыну.

Петя угрюмо молчал. Но зато из-за какой-то занавески выскочил вдруг дед Игорь и мимоходом крикнул:

– Мишук-то хочет наружу. Гости ему понравились!

Все переглянулись. Повяло холодом. Но Алла знала – ничего не случится. Ксюша испугалась, вздрогнула спинка, но только потому, что всегда внутренне наслаждалась своим страхом. И еще больше нежнела к себе, да и к другим, близким... «Где сейчас Стасик? – тоскливо подумала Аллочка. – И все-таки не мог меня по-хорошему разлюбить, все со скандалом надо, да еще метафизическим. Впрочем, умом ничего не понять. А здесь выпить-то и то не дадут...»

– Игорь Михеич, не шали! – строго оборвал ситуацию Петр Петрович.

Ксюша вдруг рассердилась:

– Хаоса у вас мало! И смерть свою вы не любите!

Потаповы обомлели, как будто даже ростом стали помельче. А дед Игорь ушел.

– Если бы вы не были от Лены, мы бы вас выставили за такие обидные слова, – произнес Петр Петрович, и губы его сжались.

– Они, наверное, намекают, что Миша-де может смерть наслать, если он людей уродами от своей мысли делает, пущай и на время, – разволновалась бабуся Любовь Матвеевна. – Стыдно вам, в смерти Миша наш не волен, смерть, она от Бога, а не от Миши. Мишуня только на жисть влияет, а не на иное. Образованные, а таких вещей не понимаете...

Алла расхохоталась, почти надрывно.

– Да все мы понимаем... Сестричка моя имела в виду, что нет в вас сексуального влечения к смерти. Оттого вы и ординарные, несмотря на вашего Мишуню.

Петр Петрович далее привстал. Побледнел так и опять произнес:

– Если бы вы не от Лены, то попросил бы вас уйти из нашего дома.

Остальные Потаповы не привстали, а как-то опустили вниз. Но Алла успела шепнуть Ксюше: «Я одурела от этого Мишуни, я больше не могу, к тому же он подвывает взаперти, мы же не за этим воем пришли, Ксю».

Алла знала, что может здесь многое себе позволить, ибо у Потаповых они защищены именем Лены Дементьевой. А почему так – это, в конце концов, не важно.

Старушка, впрочем, при словах «сексуальное влечение к смерти» поджала губки и покраснела, как девушка. А вслух прошептала: «Ну и сестрички».

Алла встала и, посмотрев на несчастную и ставшую как бы меньше ростом Евдокию Васильевну, сказала:

– Ну извините вы нас, если что не так. Мы к вам с добром пришли.

Ксюша вступилась за сестру:

– Конечно. Мы только добра и ждем. Зачем нам зло?

Постепенно все как-то улеглось. Евдокия хотела предложить даже чаю, но вспомнила, что Сама не велела.

Старушка невзначай и буркнула:

– Сколько раз Леночка предлагала Мишуню к батюшке одному в церковь сводить, но родители, – и старушка взглянула на Петра Петровича, – не хотят, говорят, все равно не поможет, мол, дело Мишуни особенное. Но Леночка говорила им, почему же не попробовать...

Алла заметила:

– Конечно, Лена права, попытка не пытка, в Средние века, когда вера в людях была на уровне, Мишу, может быть, и спасли бы. Хотя, конечно, прорывы его, думаю, не от дьявола, дело еще мудреней и сугубо личное, но помочь до какой-то степени все равно бы смогли.

Ксюша не удержалась:

– Оно-то конечно, но если только не попался бы в объятия какому-нибудь чересчур любвеобильному инквизитору, из Испании к примеру... Костер из плохих мыслей пылал бы тогда.

Алла сделала Ксюшеньке знак: помолчи, в конце концов.

Глава 9

Сама вошла незаметно, тихой сапой. Просто возникла за столом, где сидели Потаповы и родные сестры.

Потаповых тут же как бензином смыло. Гуськом, гуськом, друг за другом, они исчезли словно в тумане.

Сама между тем впечатляла. Чуть-чуть низенькая, сухонькая, возраста от сорока до семидесяти, на чей вкус, лицо потаенно-живое, но в морщинах, глазки твердые, волевые, но вместе с тем бегающие. Недоступность, но обычная в ней тоже, конечно, была, однако где-то внутри.

Пронзенно взглянув на сестер, она вдруг тихонько спросила их о здоровье. Те удивились и помолчали. Почему-то оказалось, что трудно было начать конкретный разговор – о Стасике. Говорили, что Сама была мастерица на исчезнувших. Некоторые даже возвращались.

– Мы о вас столько наслышаны от Лены, – вздохнула Ксюша. – А почему вы нам покушать-то не разрешаете?

Сама, оскалив молодые зубы, дружелюбно рассмеялась.

– Всего лишь для дисциплины, всего лишь. Хватит вам нежиться в пуху, – она бросила взгляд на Ксюшу.

– Нам Стасика, мужа моего, жалко до ужаса, – внезапно перешла к делу Алла.

– Я осведомлена о вашем Стасике.

«Через Лену, наверное», – подумала Ксюша.

– Мы искали, искали, звонили, – еле сдерживаясь, начала Алла. – И милиция, и косвенно, в основном через третьи руки, к тому же всякие экстрасенсы...

Сама пренебрежительно махнула рукой.

– Надо было бы на особых контактеров выйти, – произнесла Алла.

У Самой поползли вверх брови.

– Не по делу, – сказала она. – Настоящие, высшие контактеры, милая моя, имеют дело с силами и существами, о которых наше убогое человечество не имеет никакого представления. Зачем этим силам Стасик?

Легло молчание.

– Кроме того, – Сама даже сверкнула просветленным взглядом, – многие контактеры сходят с ума. Это банально, но это факт. Они просто не выдерживают даже отдаленного присутствия тех существ, которых они пытаются хотя бы чуть-чуть понять. Они раздавлены, их человеческая гордость поправа более могущественными существами, их ум превращается в круговорот безумия. Немногие выдерживают...

Алла и Ксения не знали даже, как зовут Саму (если ее вообще как-то звали), но Алла обошлась с ней без имени-отчества.

– Вы знаете, мы обо всем этом прекрасно осведомлены. Мы же из круга Лены.

– А вы знаете, кто стоит за ней? Метафизически?

– Придет время, узнаем.

– Ого!

– И мы знаем, каким образом могут быть полезны контактеры, если говорить о Стани-
славе.

– Будя, – ответила Сама. – Приступим к делу. Вы руку Стасика принесли?

– Конечно. Мы предупреждены. Отличные изображения линий на всех двух ладонях.

– А изображение личика, о чем тоже говорилось, есть?

– И это есть.

Сама разложила три листа (две ладони и лицо) перед собой, и сосредоточилась, и оцепе-
нела вдруг, неподвижно рассматривая эти изображения.

Замогильная, но наполненная энергией тишина овладела комнатой. Замерли даже мыши.

«Решается судьба Стасика», – подумала Ксения.

И внезапно Сама завизжала ни на что не похожим голосом. Тишина разорвалась.

Сама посмотрела полубезумным по силе взглядом на сестер.

– Вы что, с ума сошли! – каким-то лаем выкрикнула она.

Алла и Ксения онемели.

– Кто вы?! – голос женщины срывался, а взгляд метался из стороны в сторону, как пой-
манный демон. – Да вы что?.. Да ведь это... Кто?! Что?!!

Потом взгляд ее потерял всякую связь с речью, и она опять завизжала. Из маленького рта
выступила пена, она вскочила и разорвала в клочья листы.

«Она нас убьет», – мелькнуло в уме Ксюши, и сердце ее превратилось в живой комочек
сладкой любви к жизни.

Но блуждающий взгляд Самой твердил о другом, о том, что она просто вне своего ума.

Внезапно Сама зашипела и с этим звуком выбежала в коридор.

– Чтобы все провалилось наконец... Ха... ха-ха! – взвыла она непонятно, подняв голову к
потолку, точно увидела там свой предел и страх. И с этим завыванием выскочила из квартиры.

– Надо бежать отсюда! – воскликнула Ксюша.

Но в комнату всунулась голова деда Игоря:

– Не убежите так просто... Не убежите!

Сестры рванулись в коридор. Но там у двери на выходе стояли Потаповы, похожие на
разбушевавшихся гномов.

– Это вам так не пройдет, – сказал Петр Петрович, пошатываясь.

– Да мы на вас Мишу сейчас выпустим! – закричала его супруга.

Из чулана донесся хохот.

– Только через мой труп! – с криком возразила бабуся.

– Да что вы сделали с Самой, что произошло, где ваш Стасик, кого он довел?! – Петр
Петрович затопал ногами.

– Да они на Саму посягнули, – прошамкала Любовь Матвеевна. – Теперь нам не жить.

Из чулана донесся оглушающий стук: это Миша ломился в дверь. Алла, схватив за руку
Ксюшу, юрко проскользнула между хозяином и бабусей и выскочила с сестрой за дверь.

– Уши бы у вас отвалились! – услышали они на прощание.

Алла и Ксюшенька еле отдышались на улице.

– Могли умереть, – сказала Ксюша.

– Надо срочно позвонить Лене, а потом выпить, – решила Алла.

...Голос Лены был спокоен как никогда.

– Встретимся через час в нашей стекляшке у метро «Парк культуры», – предложила она.

«Стекляшкой» оказалось кафе у радиальной линии «Парка культуры».

Взяли гору пирожков, кофе и по рюмочке каждой.

– Я вот что хочу сказать, сестрички, – начала Лена, лихо опрокинув в себя рюмашечку. – Все прошло как по маслу. Теперь надо сделать выводы.

– Какие там выводы?! Миша мог ворваться, и что тогда?! – слегка нервно воскликнула Ксения.

Лена укоризненно на нее посмотрела.

– Во-первых, я была на сто процентов уверена, что его не выпустят.

Во-вторых, ничего бы вам Миша не смог причинить, если бы даже проклял вас со всей лошадиной силой... Вы защищены, – резко заключила она. – Иначе я бы не рекомендовала вам этот эксперимент. Такие типы, как он, ничего не могут причинить тем, кто из нашего окружения, например...

– Естественно, Леночка, – зря мы, что ли, погружались в метафизику, но нежное женское «эго»... все-таки встало на дыбы, – закончила Алла. – А Сама – мощный и дикий фрукт, ничего не скажешь.

– Отчего она словно в ад полезла? – рассуждала Ксюша, откусывая пирожок. – Надо же, чтоб данные Стасика так довели эту жуткую бабу с глазами пугливого льва.

– То-то и оно, девочки, – ответила Лена, выдохнув. – Но сеанс окончен. Цель достигнута. Если Сама пришла в дикообразный ужас, прикоснувшись к ситуации со Стасиком, то вам, Алла, лучше туда не соваться, и поставьте точку на этой истории. Саму просто так не выведешь из себя...

– Значит, Нил Палыч прав, – задумчиво прервала ее Ксюша.

– На то он и Нил Палыч, чтобы часто быть правым, – заметила Лена.

Чашки с кофе уже опустели, но подошла официантка: «Вам еще?» «Еще», – был ответ.

– Аллочка, я вам советую: главное, выбросите Стасика из головы. То, во что он влип, dokonало даже Саму. Если он и вернется, он будет не похож ни на кого и ни на что.

– Конечно, Аллочка, – всхлинула Ксюша. – На тонком уровне он столько чудовищ на своей спине принесет, если придет... Какой он муж будет?... Зачем тебе такой супруг?

– Не мучь, Ксюша.

– Брось. В тебя столько влюблены, – парировала Ксюша. – Влюблены, ладно. А вот Саша Смирнов тебя любит. Из нашего круга. И глаза у него не как у людей. А то куда ни глянь, одни люди и люди. Когда ж боги-то к нам опять нагрянут, как во времена Трои?

– Вся эта история со Стасиком не хуже вторжения богов, – усмехнулась Алла.

– Ты лапочка. Ура! – воскликнула Ксюша. – Поставим точку!

– Только Андрей точку не поставит. Но это его дело, – тихо произнесла Алла.

И все они опять выпили за непостижимое. «А я к Стасику хочу», – тайно подумала Ксюня и оборвала себя.

На Москву лег туман.

Глава 10

К Степану стала подбираться тоска, и тоску он нередко любил, блаженно-недосягаемой любовью.

Начиналось у него обычно с любимой в этом случае песни:

Шла машина грузовая,
Раздавила Николая,
И на Колю свысока
Смотрит желтая луна.

...

Молвил Федору Максим:
Ну-ка сбегай в магазин.
...
Шла машина грузовая,
Раздавила Николая,
Над его башкой несчастной
Тихо светит месяц ясный.
...
Хорошо Максим играет,
Даже крыша разъезжает,
Федор громко так поет,
Спать соседям не дает.
...
Шла машина грузовая,
Раздавила Николая.
...

Степан видел в этой песне свой собственный перевернутый смысл. И вообще, когда подступала тоска, он пел членораздельно, а не так, как обычно, что-то мыча.

«Разъединит нас только жизнь, а не смерть», – блуждающе проговорил он, закончив внутренне пение. Осмотрел пространство. Ничего в нем интересного не было. Было интересно только то, что в пространстве отсутствовало.

Степан задумался. Тоска у него была не от ума и не от сердца, а от тоски. Она спускалась, точно с неба падала, или же выходила изнутри его самого, из утробы пустоты.

Степан встал со скамейки, захотелось кого-нибудь побить, лучше дерево или самого себя. Надо было смотреть вдаль. Тоска вела туда, где было больше всего тоски.

И Степан Милый побежал. Бежал он, думая, а когда сидел – обычно не думал. Не мог он, однако, понять, почему он жил семьдесят лет назад, если сейчас ему, наверное, около сорока. Может быть, он просто заснул где-то в поздней юности, точнее – просто забылся? Он любил забываться, хотя бы просто на время.

Мальчик встал на пути бега. Отсутствующе поцеловав его, Милый продолжал бег. Подпрыгивал от радости: тоска уже овладевала им насквозь.

«Теперь хорошо лечь на траву с пивом и попробовать понять корни моей тоски», – подумал он вдруг вполне разумно.

Но где взять пиво?

Вдруг взгляд Степана упал на пенёк. На пне стояла нетронутая бутылка пива, и вокруг нее по пню бегала мышь. Слегка удивившись, Степан подошел и взял пиво. Мышь не исчезла, а продолжала бегать по кругу на пне, словно замороженная. Степан ушел с пивом вдаль, лениво открыв бутылку и отхлебывая из нее... Вдруг он опустил голову, и ему показалось, что кто-то, окаменев, глянул на него из глубин падшего мира... Пиво оказалось вкусным.

«А вот и травка», – мелькнуло в его уме.

Кувырнувшись, но не повредив бутылку, он нашел себя на земле, глядящим в небо. Бутылка была во рту.

Тоска поднимала его все выше и выше – только в какие дали?

«Не дай бог сейчас думать, не думая, – решил Степан. – Тогда и разгадаешь некоторые корни тоски. А зачем ее разгадывать? Хорошо бы знать лишь, куда она меня приведет».

Но как познавать во мраке, которым ты сам стал? «Но тоска – это не мрак, это путь», – кто-то тихо шепнул в сознании Степана. Шепнул нежно, но твердо.

Степан потерял способность мыслить. На время, конечно. Сейчас бы попрыгать, барахтаться в тоске, как в океане. От тоски сердце переставало быть сердцем и весь он переставал быть человеком или даже существом, а становился неким сгустком непонятного начала.

В ответ на такое Степан обычно начинал хохотать, и его хохот был одинок и бесцелен. Но зато порождалось веселье. Так стало и на этот раз.

Его смех разбудил спящих под землей тварей. Лучше бы он так не смеялся.

Разбежались даже мальчишки, игравшие рядом в волейбол.

«Чего же мне не хватает, по чему я тоскую? – снова возникли у Степана мысли. – Нет, мне всего хватает. Ксюша во мне, и Безымянная тоже. Мне не хватает тоски. Вот в чем ключ».

И на этом Милый потерял сознание – но не совсем, а в обычном смысле.

При этом существовать физически мог. Другой, потеряв сознание (как кошелек некий), лежит, а этот встал и пошел. Далеко, далеко, туда, где за мерцающим горизонтом светилась страна великой вечной тоски. И веселье все больше и больше охватывало Степана. «Вот оно, счастье, раз я иду к вечной тоске», – подумал он. И шел, и шел, и шел. Страна абсолютной тоски манила его...

Очнулся Степан на диване. Диван был поношенный и кем-то выброшенный в переулочек.

Степан с надеждой осмотрелся вокруг. «Да вот он, как я не понял», – воскликнул он про себя. Взгляд его впился в фигуру человека, пляшущего около ямы.

– Конечно, это он. Как долго я его ждал, – почти вслух произнес Степан.

И человек откликнулся. Раздвинув руки для объятия, он пошел навстречу Степану. Они обнялись и поцеловались.

– Ты кто? – спросил Степан, забыв.

– А ты?

– Все понял, – осенило Степана.

– И я все понял, – ответил человек.

И, обнявшись, они пошли в лес, ибо в Москве, несмотря на то что она город, можно найти лес.

Присели на два пенька. Но потом человек отскочил к дереву.

– Этот мир, по сути, – черная дыра. Никто этого не замечает, хотя помирают все и сквозь смерть можно видеть. Но у нас, в Рассее, к черной дыре идут лихие люди. Пусть их не так уж много, но они знают, что делают. Они пляшут у самого обрыва в черную пропасть. И я вот такой плясун. Но есть которые и прыгают или перепрыгивают – понять нельзя. А как тебя зовут-то?

– Меня Степаном.

– А меня Данилой. Так и зови.

Степан загорелся радостью жизни.

– Надо же, – сказал. – Я тебя жду давно. Мы, по-моему, в детском саде в тридцатых годах вместе учились, а потом разошлись. Не помнишь?

– Да выбрось ты все это из головы. Тридцатые годы, девяностые – для нас разницы нет. Мы скорее где-то еще виделись, но где – определить человеческим словом нельзя. Подумай о настоящем. Что будем делать?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.